Одиночество в сети. Возвращение к началу

Автор:
Януш Вишневский

Одиночество в сети. Возвращение к началу

Януш Леон Вишневский

Герои «Одиночества в сети» расстались после долгого и страстного романа, а через 9 месяцев у Агнешки и ее законного мужа родился сын Якуб. Годы идут, Якуб взрослеет. Сейчас ему 21 год, он – студент факультета информатики в университете, и однажды благодаря Интернету знакомится с очаровательной Надей. Однажды Надя обнаруживает, что герои книги, которую она читает, кажутся ей слишком знакомыми и каким-то образом связаны с жизнью любимого. Она делится с Якубом своими подозрениями. Они вместе начинают поиски и наталкиваются на тайну. Теперь у них уже слишком много вопросов к прошлому его матери… Но имеют ли они право раскрывать чужие секреты?

Януш Вишневский

Одиночество в сети. Возвращение к началу

Janusz Wisniewski

Koniec samotnosci

© Janusz Leon Wisniewski, 2019

© Чайников Ю., перевод, 2020

© ООО» Издательство АСТ», 2020

* * *

18 июля, ночь…

Дверь с шумом распахнулась, и в сумрак спальни ввалился Иоахим. Сначала до нее донеслось тяжелое сопение, а мгновение спустя – смрад алкогольной отрыжки, смешанной с запахом пота и чеснока. Она еще сильней зажмурилась и напряглась, а почувствовав на ягодицах его руку, отпихнула ее и тихонечко отползла на край кровати. Он что-то недовольно пробормотал, заворочался, кровать заскрипела, задрожала, и очень скоро в спальне воцарилась тишина. Оцепенение отпустило ее лишь после того, как она услышала его храп.

Так она пролежала ровно до полуночи. Она точно знала время по колоколу на башне костела. В одиннадцать вечера он бил одиннадцать раз, а час спустя, в полночь, раздалось тихое, невнятное, единичное глухое брякание: не иначе как уставший от богослужений и сытного ужина приходской священник наказал не будить не только его, но и прихожан.

Полночь… Время превращений, когда карета становится тыквой… Ах, если бы только это… Она выпорхнула из постели и пошла на кухню. Из недр буфетного ящика достала хранимую там как НЗ пачку сигарет, наполнила высокий хрустальный бокал кубиками льда и налила виски. То же самое сделала и с другим бокалом. Села на бетонном полу балкона, поставив оба бокала на сложенную в углу потрескавшуюся кафельную плитку. В порыве устройства семейной жизни Иоахим снял ее еще в начале прошлого лета, собираясь настелить ламинат. Но творческий пыл поостыл, лето пролетело, настало очередное лето, а куча плитки продолжала занимать половину балкона.

Она села на почерневший бетон, прислонясь спиной к шершавой штукатурке, и глубоко затянулась сигаретой. Одной затяжки ее бедной голове хватило для того, чтобы пойти кругом. Еще бы, она ведь курила по-настоящему только раз в году, да и виски пила тоже только раз в году. Восемнадцатого июля. Невелик грех, как и все остальные грехи, казавшиеся ей до смешного неважными, будничными, не стоящими даже упоминания, не говоря уж о покаянии во время исповеди, по сравнению с одним, пусть и не смертным, но главным в ее личном

списке грехов. И приходился он тоже на восемнадцатое июля… Она поднесла ко рту бокал и не отрывала его до тех пор, пока не почувствовала холод кубиков льда на губах.

Двадцать лет назад. Париж…

Аэропорт. В терминале полно народу, но при этом там было так тихо, словно это не аэропорт, а кафедральный собор из стекла и бетона и все прихожане в нем глухонемые. Она отчетливо слышит звук своих шагов, отлетающий от мраморного пола и отзывающийся многократным эхом, быстро минует группку людей с камерами и микрофонами, подходит к массивной стойке цвета слоновой кости. За стойкой появляется пожилой седовласый мужчина в синей форме с золотым значком авиалиний и спрашивает по-английски, есть ли среди ожидающих кто-нибудь, кто ждет восьмисотый рейс. Когда она кивает утвердительно, мужчина берет ее за руки, смотрит ей в глаза и тихо цедит каждое слово:

– Восьмисотый не прилетит…

Она видит себя как бы со стороны. Четко видит. Она спокойна, стоит, удивляется, почему этот незнакомец позволяет себе держать ее за руки, слышит будто растянутую во времени или медленно пущенную магнитофонную запись: «в живых никого не осталось…». Тогда она поворачивает голову, ища взглядом тех, к кому могли быть обращены эти слова, но никого не находит. И только тогда понимает, что это именно с ней, а не с кем-то другим говорят:

– Там был кто-то из ваших близких? Примите наши соболезнования…

Она потянулась за другим бокалом. Пепел с дрожавшей в руке сигареты упал на янтарную поверхность, разбив отражение луны. Она смотрела, как черные точки пепла тонут и бесследно пропадают между кубиками льда – растворяются и исчезают, так и не достигнув дна бокала. И от этого зрелища ей стало совсем тоскливо, на глаза навернулись слезы, а в голову закралась мысль, что, наверное, она уже немножко пьяная. Она затянулась очередной сигаретой. Всегда в такие моменты она впадала в две крайности: или замолкала, или же наоборот – в ней прорывалась неукротимая охота выговориться. Но только перед

собой. Так поговорить, чтобы никто не задавал глупых вопросов, никто ничего не комментировал, ничему не удивлялся, не делал вид, что все понимает или хуже того – сочувствует, потому что она прекрасно знала, что никто ее не понимает, а уж тем более не чувствует того, что испытывает она.

Вот и теперь у нее все то же: ей хотелось выговориться, поговорить с собой. Когда она приближается к границе опьянения, одних лишь раздумий ей мало. Она должна проговорить свои мысли вслух, выпустить их материальное воплощение из головы на волю. И обязана непременно услышать их, вступить с ними в диалог. Она говорила сама с собой, задавала себе вопросы, если получалось – сама на них отвечала, спорила, иногда даже ссорилась сама с собой. Так, будто рядом с ней сидит она же сама, но какая-то другая. Странно это все, а по мнению ее подруги-ипохондрички Урсулы, страшно и опасно – «явный симптом неизбежно приближающейся шизы, и я на твоем месте записала бы все это на мобильник и побежала бы с этим к психиатру, потому что у тебя в роду как пить дать был псих». В отношении последнего Урсула была права. Это у Агнешки от отца. От него ей достались только две вещи: божественный лазоревый цвет глаз и как расплата за первое, как бы для равновесия – эти эмоциональные всплески, чтобы не сказать взрывы. Когда он возвращался домой пьяный, он бил маму, бил молча, совершенно без причины, без повода, просто так, для разрядки. А когда та падала, он придавливал ее ногой к полу.

– Как сейчас помню, – начинает она этот монолог и говорит тихо, так сильно сжимая бокал, что того и гляди раздавит его. – Я вцеплялась в его ножищу, обутую в громадный грязный ботинок с ржавыми подковками на каблуке, пытаясь снять ее с мамы. Помню, как он пнул меня. И вкус крови на губах, и синяки на заднице, и его ярость. И никогда, никогда, умирать буду – не забуду. Рассядется как султан за столом на кухне, начнет качаться на стуле и долго бессвязно бормочет сам с собой. Под конец жизни он и разговаривал-то практически только сам с собой, потому что всегда был пьяный…

Что я несу?! Ну и чего я такое несу?! Хочу и несу! Про него! И про восемнадцатое июля двадцать один год назад. О грехе, к которому хочу припасть и совершить его еще раз. Тогда в аэропорту я тоже плакала. Впервые в жизни без слез, без звука. Ревела и билась в конвульсиях, но все это шло не наружу, а концентрировалось внутри меня. До сих пор не знаю, как так получилось. Наверное, тогда люди подумали, что у меня пропал голос или что я сошла с ума. Тот дядька из TWA позвал санитара, бородатого араба со шрамом на щеке. Санитар распрямил мою руку и, не говоря ни слова, что-то вколол мне в вену.

Даже не стал спрашивать, согласна я или нет. Откуда ни возьмись появился администратор из гостиницы, задел санитара, да так, что игла дернула за собой вену, натянула кожу на предплечье. Я тогда ничего не ощущала, боли тоже. Совсем. Как будто это была не моя рука и не моя вена.

Санитар тогда огрызнулся на парня, а тот, не обращая внимания, все лез вперед и махал у меня перед глазами каким-то помятым листком и что-то кричал по-польски. Сначала мне показалось, что он кричит у меня во сне, что санитар с ужасным шрамом дал мне что-то вроде наркоза, и я сразу провалилась в сон, а парень появился в том сне первым.

Много лет тому назад, мне было тогда, наверное, лет двенадцать, я упала с качелей и вывихнула палец. Мне его вправляли под наркозом. Первое, что я услышала, когда наркоз подействовал, это был крик. Причем хорошо известный. Страшный пьяный крик отца. И хотя был он вроде как искажен, какой-то хрипучий, вибрирующий, вроде как из громкоговорителя, но все равно я его узнала – это был его голос. Отец в том сне, который я никогда не забуду, орал на меня из недр какого-то темного узкого тоннеля, пробитого в еще более темной бездне. Темнота в темноте и его крик… Вот такая для меня была первая встреча с наркозом… А там, в том аэропорту, было очень светло и очень тихо. Вот почему я точно могу сказать: тогда это был не наркоз.

Не помню, какие из слов того парня с листком дошли до меня первыми. То ли что «он жив», то ли что «он летит к тебе». Зато я помню, как потянулась за этим листком, вырвала у него из рук и стала читать. Когда я прочла уже в третий раз с начала до конца, сердце у меня словно вывернулось наизнанку, дыхание перехватило. Я оттолкнула сначала санитара, потом администратора, а потом и молчаливого, с густой проседью мужчину в синей форме. А может, и не отталкивала я никого, и они сами растворились? Вряд ли… Во всяком случае я начала протискиваться сквозь толпу. Везде на полу я видела носилки. У стен, у стоек регистрации, рядом с цветочными вазами. Везде, на чем только было можно, сидели люди, а если не на чем было сидеть, то сидели на корточках или лежали, прикрыв лица руками, молились, но чаще всего – плакали. Над ними склонялись другие люди. В белых халатах, в светоотражающих жилетах, черных сутанах, монашки в белых или серебристо-серых одеяниях. Из громкоговорителей доносился спокойный голос дикторши, повторявший, как заезженная пластинка, по-французски, по-английски и по-немецки, что самолет авиалиний TWA, рейс 800 из Нью-Йорка в Париж, по техническим причинам сегодня не прибудет.

Да мать вашу растак да разэдак! Это ж какие мозги надо иметь, чтобы придумать то, что они придумали – «по техническим причинам». Хотя, если подумать, это не расходилось с правдой. Разбившийся от удара о поверхность океана на тысячу кусков самолет в сущности по самой что ни на есть технической причине прилететь не сможет. Как сейчас слышу сюрреалистический в тех обстоятельствах голос дикторши. И его я тоже никогда не забуду.

Помню, что потом я сидела на какой-то пустой лавочке, прямо напротив молочно-белых дверей, которые раздвигались и снова сдвигались с писком, а стоящий передо мною на коленях парень из гостиницы уверял меня, что «он должен выйти из этого коридора».

Потом на меня что-то накатило, и я заплакала, почувствовав разливавшуюся от низа живота к рукам волну благодарности. И мне захотелось эту мою благодарность обязательно выразить, а поскольку я не знала, кого благодарить, вознесла благодарение Богу. Хотя верующей я никогда не была… И тогда эти пищащие молочно-белые двери раздвинулись в очередной раз и из них вышел он…

На мгновение остановился, нервно оглядываясь вокруг. Он. Первый раз не виртуальный. Пусть вдали, но, наконец, реальный, из плоти и крови. Наконец-то.

Она поднесла к губам пустой бокал. Языком подхватила и отправила в рот кубик льда. Остальные высыпала на ладонь и протерла ими пылающее лицо.

Он заметил меня. А когда он стал медленно приближаться ко мне, я тут же забыла о Боге и благодарности, о том, что с размазанным макияжем и гигантской гематомой от иглы я выглядела как наркоманка со стажем. Хотела сорваться со скамейки, полететь к нему, прикоснуться. Чтобы окончательно убедиться…

Но я не смогла сойти с места, ноги будто приросли к мраморному полу. А может, оно и к лучшему? Может, во всем этом был какой-то замысел? Ведь женщина не должна бегать за мужчиной. Даже влюбленная женщина. Пожалуй, прежде всего именно такая…

Помню, когда он приблизился ко мне и грустно взглянул огромными голубыми глазами, я прижала палец к губам, подавая знак, чтобы он ничего не говорил. А потом… – вздохнула она, прикуривая очередную сигарету. – Только потом…

Внезапно в гостиной зажегся свет. Ее передернуло, будто ток от включенного света прошел сквозь нее. А заслышав шаги, пришла в себя: поспешно притушила сигарету о кубики льда, зажала бокал между ног и прикрыла его ночной рубашкой.

@1

Его разбудила волна тепла. Странно – показалось, что тепло ласкает только его спину. Он медленно открыл глаза: радуги, множество наползавших друг на друга маленьких радуг! Что это? Ну, курнули они вчера, но ведь совсем чуток. Наверняка слишком мало, чтобы это держало до самого утра. По косячку на каждого. Не больше. Надя уже на половине своего начала расстегивать кофточку и сняла лифчик. Он помнит все, что было сразу после, а вот как добрался до постели – провал. Впрочем, не в первый раз.

Рядом с ней он не испытывал нужды в травке во время секса. А однажды – дело было в одном крутейшем варшавском отеле у вокзала – они предавались любви в декадентско-громадной ванне. Тогда у него глаза как будто вывернулись наизнанку. В смысле вовнутрь. Жуть, особенно когда он попытался представить это при других обстоятельствах, но тогда, в той ванне, все было именно так. Сам себе смотрел в глаза! Причем, не в отражение в каком-то там зеркале, а своими собственными в свои собственные! Видел в них очертания Надиной головы между своих бедер. Размазанные и нечеткие из-за того, что двоились. И тогда он зажмурился. Сильно. Для верности придавил веки пальцами. Хотел вернуться к реальности. Хотел видеть то, что там делает Надя в нераздвоенном изображении. Ибо нет в мире таких опиатов, которые выиграли бы соревнование с ее губами…

Продолжая лежать, он широко открыл глаза и на секунду замер, пытаясь собрать мысли в кучку. Это множество радуг, это ведь оптика! Реальная оптика, а не какой-то там продленный кайф. На коже Нади высыхали капли воды,

образовывая микроскопические паровые облачка над кожей, через которые, как через призму, преломлялся свет. Мы часто наблюдаем это на небе после дождя. Много призм и муравейник радуг. На ее спине, на ягодицах, на бедрах. Ну а ласкающее тепло, которое он ощутил? Обычная термодинамика. Вот уже неделю стояла поистине тропическая жара, так что Надя прикрепила дешевый, купленный на распродаже китайский вентилятор к покатому потолку чердака. Он сам сверлил дырки в досках, прикрепляя это не столько чудо, сколько чудовище техники, которое нормально проработало всего минут пятнадцать. А потом лишь лениво вертело своими лопастями, с трудом меся неподвижный, вязкий, словно желатин, воздух. Лопасти были такие огромные, что своими концами доставали до середины окна в потолке и, вращаясь, отбрасывали на него тень.

Он смотрел на Надину спину, на попку, которая при ее тонкой талии выглядела как сердце, прилепленное к телу и разделенное на две половинки узкой щелкой. Сразу над ней – выпуклость, довольно заметная, никак эволюция хотела напомнить о себе. Он обожал эту выпуклость. Прикасался к ней кончиками пальцев, целовал, обхватывал губами, лизал, дул на нее. А иногда нежно прикусывал покрывавшую ее кожу с едва заметными светлыми волосками, которые тогда как по команде вставали дыбом, а Надя начинала громко и глубоко дышать, шевелить бедрами и шептать это свое сладкое: «Якуб, что ты опять со мной делаешь…».

Он бесшумно пододвинулся к ней, дотронулся губами до маленькой радуги на этой выпуклости и прошептал:

– С добрым утром, любимая.

Она резко повернула голову. Смотрела на него отсутствующим взглядом. Он заметил слезы в ее глазах и опустился перед ней на колени:

– Ты что, плачешь? Что случилось?

Она перевернулась на спину и прикрыла грудь раскрытой книгой. Долго не отвечала. Кончиками пальцев нежно гладила его щеки и губы.

– Это все из-за книги, – прошептала она.

Краем глаза он глянул на потрескавшуюся и в нескольких местах протертую коричневую с оранжевым отливом обложку, на которой была изображена целующаяся пара.

– Из-за книги, говоришь? – шепнул он, прижимая ее пальчики к своим губам. Потом, не скрывая своего удивления, спросил:

– Это ты из-за книжки, что ль, плачешь? Ты? Ты же взрослая девочка! Я думал, что ты уже не читаешь такие книги, – добавил он с легкой ноткой иронии.

– Такие – это какие конкретно? – резко отреагировала она и приподнялась на локтях. Книга медленно сползла ей на живот, приоткрыв грудь.

– Нууу, такие… Такие… – замешкался он в поиске нужного слова.

Он заметил искорки в ее глазах, уловил раздражение в голосе. Он хорошо знал – когда Надя вводит в разговор свое «конкретно», это чаще всего оказывается прелюдией к дискуссии, а порой и к ссоре. Ему очень нравилось дискутировать с ней, иногда даже ссориться, а все потому, что после таких интеллектуальных стычек они очень красиво мирились. Но теперь, когда она лежала обнаженная и была рядом с ним, он меньше всего хотел начинать дискуссию.

– Ну, как бы это лучше выразиться, романтичных что ли, – закончил он и склонил голову, пытаясь поцеловать ее грудь.

Она не позволила. Сперва скрестила руки, а потом уперла ладони в его лоб, подняла его голову и, глядя прямо ему в глаза, спросила:

– А ты? Разве тебе никогда не приходилось плакать над книгой?

Он уловил в ее голосе решительность и хорошо ему знакомую задиристость.

– Да что-то не припомню, – спокойно ответил он. – Разве что над каким-нибудь идиотским учебником, из-за того, что приходится время тратить на такую чушь, – добавил он насмешливо.

– Очень странно, – ответила она тихо, не реагируя на его шутку.

– Почему?

– Потому что ты человек впечатлительный. Я в жизни не видела таких впечатлительных, как ты. Вот мне и странно. Очень странно.

Она повернулась на бок и прижалась ягодицами к низу его живота. Какое-то время они лежали молча, прильнув друг к другу, как ложечки в серванте.

– Ладно, так и быть, расколюсь, – шепнул он. – Над книгами точно не плакал, а вот над письмами было дело. Притом, довольно часто. Если тебе так уж понадобились мои слезы от чтения.

– Ты никогда мне об этом не говорил, – ответила она не сразу.

В ее голосе он услышал грусть. Она вдруг повернулась к нему и отодвинулась на край постели. Их глаза оказались на одном уровне.

– Мы уже почти год знакомы, близко, – заговорила она, наматывая локон на палец. – Ты знаешь каждый уголок моего тела, мы не только спим вместе, это делают многие, мы даже больше – как семья, едим вместе, за одним столом – и ужины и завтраки. Я распускаю для тебя волосы. Рядом с тобой отступают мои страхи, я не стыжусь перед тобой ни слез своих, ни глупостей. Ты покупаешь мне тампоны, знаешь, какие именно. Ты укладываешь меня в постель, когда я, бывает, выпью лишнего. За это время я успела выложить перед тобой свои мысли, мечты, надежды, открыть свою душу. А это гораздо больше, чем открыть свое тело. Ты так подробно знаешь мою биографию с первого класса начальной школы до сегодняшнего дня, что мог бы из моих снимков составить Instastory. Я еще много чего могла бы так перечислять. Ты знаешь обо мне все. И о моей семье тоже. Ты вместе со мной ходишь на кладбище и зажигаешь свечи на могилах. Ты знаешь обо мне в тысячу раз больше, чем моя мать. И все это ты знаешь от меня, – добавила она решительно. – А я? На самом деле я знаю лишь, что ты – единственный ребенок в семье, живешь с родителями и что тебя приняли в институт без экзаменов, потому что ты победил на какой-то там олимпиаде. Вот и все, что я о тебе знаю. Будто у тебя и не было никакого прошлого. Будто вся твоя жизнь началась только в прошлом году, в августе, когда ты встретил меня. Ты заметил это, Якуб? – тихо спросила она.

Он был в замешательстве. То, что началось с его невинного вопроса, простого проявления заботы, незаметно переросло в серьезный разговор о них, об их связи. Он никак не ожидал такой реакции.

– Ты заметил? Я ведь тебя, тебя спрашиваю, verdammt noch mal[1 - Проклятье; Черт побери (нем.)]?! – воскликнула она, так и не дождавшись ответа от него, впавшего в задумчивость.

Это был звоночек. Последний. Последнее предостережение. Надя ведь в принципе не ругалась. Никогда. Ни когда впадала в ярость, ни даже когда случалось со всего маху удариться коленкой о край деревянного кресла, ни в шутках, ни в соленых анекдотах, где это вроде как положено по жанру. Никогда не ругалась, даже случайно, что в наше время скорее редкость. Причем, речь вовсе не о «блинах», «твою мать», «епрст» и прочих новообразованиях уличного арго, потому что трудно эти вкрапления назвать сленгом, и еще труднее – языком. Речь вовсе не о брани пьянчужек и студентов. Ведь, как говаривал единственный его приятель Витольд, существует ситуационно оправданное сквернословие, порой необходимое, и ничем не заменимая, «соответствующая моменту брань». В настоящее время Вит – студент третьего курса, изучает польский язык и культуру («должен же где-то человек перекантоваться в момент жизненного срыва», говорил он), потому что третий раз подряд он провалил экзамены в медицинский, единственный манивший его, «а вот биология и химия, к сожалению, нет». Марика, девушка, с которой Витольд проводил больше всего времени, хотя публично (в том числе и в ее присутствии) трезвый или пьяный, он торжественно клялся, что не имеет с нею «никаких отношений, кроме сексуальных и экономических», говорила, что «Виткация тянет на медицину, потому что он хочет у себя диагностировать какую-нибудь болячку и под нее выписать себе какой-нибудь рецептик». Так-то оно, может, и так, но до сих пор Якуб не встречал более счастливой пары, чем Марика и Витольд.

Короче, Надя не ругалась даже в такие моменты, ситуационно оправданные. Во всяком случае, если и ругалась, то не по-польски. Тогда она переходила на немецкий, и это значило, что она постепенно теряет контроль, что что-то в ней лопнуло, дошло до какой-то границы или уперлось в стенку. Не дождавшись ответа, она повернулась к нему спиной и добавила:

– Почему так? Почему ты не впускаешь меня в свое прошлое? Скажешь ты мне в конце концов или нет?

– Почему, почему… Ты же ничего не спрашивала о моем прошлом, – невозмутимо ответил он.

– Ах, значит, так? А может, я думала, что так нужно? Из уважения к тебе и к твоему личному пространству. Не выспрашивать. Ждать твоего рассказа. Терпеливо ждать. Ты об этом не подумал? А может, в этом отсутствии любопытства скрывалось опасение сделать тебе больно, испугать тебя? А не испугало тебя, что явное отсутствие интереса к твоему прошлому может означать нежелание строить с тобой будущее? Неужели тебе все равно? Тебе не приходило в голову, что я могла подумать – ему все равно, я ему безразлична? Вроде все логично, умный ты мой.

– Надя, прекрати! Пожалуйста! – вырвалось у него. – Эта твоя логика не до конца логична. Ты прекрасно знаешь, что я и так говорю тебе все. Даже когда ты не спрашиваешь. Просто я считал, что мое прошлое не такое уж интересное и к нашим делам никакого отношения не имеет. То, как мы вместе переживаем наше настоящее, прекрасно говорит о моих планах на наше будущее. В том числе и о планах, связанных с тобой. Я бы даже сказал, особенно о них. Моя логика другая, и у меня на нее есть право, – перешел он в наступление, приподнимаясь на локтях. – Что на тебя сегодня нашло? Из-за какой-то гребаной книжки ты хочешь испортить нам выходной? Хотя бы не сегодня, verdammt noch mal! – воскликнул он театрально, передразнивая ее немецкий.

Он терпеть не мог этот язык. Считал, что такой годится только для того, чтобы отдавать приказы. Людям и лошадям.

Он смотрел на ее спину и ждал ответа. Она молчала. Потом он склонился над ней и прошептал на ухо:

– Дорогая, ты ведь знаешь, что это воскресенье мы могли бы начать совсем иначе.

Не поворачиваясь к нему, она спросила:

– Кто писал тебе те письма? Если, конечно, мне дозволено знать, – язвительно добавила она.

– Одна очень важная для меня женщина.

– Да что ты говоришь! И о чем же таком трогательном она тебе писала?

– Главным образом о том, что скучает. И что самое радостное события дня для нее – момент, когда она отрывает листок календаря перед тем, как ляжет спать. Потому что это значит, что на день меньше осталось до нашей встречи. И о том, что ей иногда кажется, будто она слышит мои шаги на лестничной клетке, но не подходит к двери, потому что знает – от этого ей станет лишь тягостнее. И что я часто прихожу к ней в снах, и что мы в этих снах обнимаемся. Когда я читал это, я иногда плакал. Потому что и я скучал по ней. Очень. Только не хотел писать ей об этом. Неопытный был. Мне казалось, что я должен быть стойким как рыцарь. Давно это было. Дурак я был. А от рыцаря у меня было одно – закованная в железо башка… ведь за тоску по человеку надо отплачивать той же монетой. Как ты думаешь? – спросил он совсем тихо.

Надя лежала неподвижно и молчала. Молчал и он.

– Как ее звали? – вдруг спросила она.

– Агнешка Доброслава, – спокойно ответил он.

– Красивая? У тебя остался с ней какой-нибудь контакт?

– Красивая? Слишком слабо сказано. Прекрасная! Контакт? Понятное дело, есть. В меру регулярный. В последний раз я видел ее позавчера вечером.

– И что? – услышал он нервные нотки в ее голосе.

– Как что? Поцеловал ее. Как всегда. Но ты не должна расстраиваться – она замужем.

Надя внезапно отстранилась от него и стала выпихивать его руку из-под своей шеи.

– Что происходит, Надя? Что это? – воскликнул он театрально, демонстрируя разочарование. – Я всегда целую мать на прощанье, когда ухожу надолго. А

поскольку я вышел в пятницу вечером, а сегодня уже воскресенье, – сказал он, стараясь придать голосу как можно более серьезный тон. – Так, чтобы не забыть, – добавил он тихо и властно притянул ее к себе.

Она резко вырвалась из его объятий. Села перед ним на колени. Он ребрами почувствовал прикосновение ее колен. Молчала, нервно прикусив губы. Он заметил в ее взгляде озорную улыбку. Мгновение спустя обрушила на него удары подушкой.

– Псих, псих с буйной фантазией! Замурованной в тоскующей башке! Рыцарь хренов, надо же такое придумать! Vivat licentia poetica![2 - Да здравствует поэтическая вольность! (лат.)] Рильке, видишь ли, по слезливым письмам тут нашелся! – кричала она, колошматя без разбору подушкой.

Он уворачивался от ее ударов, громко смеясь. В какой-то момент она, выбившись из сил, наклонилась над ним, закрыла ему лицо подушкой и, часто дыша, процедила сквозь зубы:

– С каким удовольствием я придушила бы тебя, знаешь? Разве что у тебя есть какая-нибудь хорошенькая идея, как компенсировать мое мучение…

Он медленно стащил подушку с лица. Надя сидела рядом на коленях, опустив руки. Падающий из окна в потолке свет, перерубаемый едва шевелящимися широкими лопастями вентилятора, создавал на ее лице, груди, животе и бедрах движущуюся спираль тени. Ее глаза то появлялись, то пропадали. Ему казалось, что с каждым разом они становятся все больше и блестят все ярче. Поблескивали и локоны ее волос, увлажненные потом.

Он обожал ее волосы. Длинные, густые, они были темно-желтыми зимой и переливались отблесками сухих колосьев летом. Ему нравилось, когда она открывает лоб и зачесывает их назад, туго обхватывая голову, а потом сплетает в косу. Любит смотреть на нее, когда она расчесывает волосы. На него это действует как гипноз. В такие моменты она вводит его в состояние блаженного покоя. Иногда Надя перехватывает косу широкой атласной лентой. Чаще всего его любимого карминового цвета. Он любит ее волосы, любит их запах, любит зарыться в них лицом или запустить в них пальцы. А еще он любит их мыть. Он часто наклоняется над Надей, когда та сидит в ванне, обычно с книгой. И тогда она сразу откладывает ее, выныривает из пахнущей лавандой пены, а он, молча,

долго и нежно втирает шампунь в ее тяжелые от воды, спадающие на плечи локоны. Потом медленно и тщательно прополаскивает их под душем. Он хорошо знает, какая должна быть температура воды: такая, чтобы она нежно обжигала кожу с внешней стороны предплечья, но не жгла его ладони. Случается (а с некоторого времени это бывает каждый раз), что в определенный момент Надя так поворачивает голову, что вода начинает струиться по ее лицу, собираясь на выпуклых приоткрытых губах. Он тогда оставляет душ, обхватывает ее голову и долго целует ее губы. Потом щеки, лоб, веки. Как-то раз Надя в порыве чувств затащила его в ванную. Поэтому в последнее время он старается заранее вынуть мобильник и бумажник из кармана. С тех пор, как он занялся массажем ее головы, он потерял уже три телефона…

Ее волосы – его фетиш.

С тех пор, как они познакомились, она распускает волосы только для него. Когда она выходила из ванной с распущенными волосами, он уже знал, что будет. И никогда не ошибался.

Впрочем, в основном это он их распускал – «освобождал», как она сказала однажды. Чаще всего он делал это, когда они предавались любви. Освобожденные волосы как интимность, на которую только он имел право. Так было. Так и осталось. Только он. Как единственный на свете мужчина. Иногда это у него ассоциируется со сказками тысячи и одной ночи, читанными в далеком детстве, ну да ладно…

А еще он заметил на ее загорелой груди и шее легкое бледно-розовое высыпание. В состоянии возбуждения, причем, не только сексуального, хотя прежде всего именно во время него, Надя покрывалась сыпью. Врачи говорили, что это нормальная физиологическая реакция на слишком резкий скачок адреналина в крови. Реакция не столь редкая, а у женщин чуть ли не обычная. Надя не столько стыдилась ее, сколько опасалась. Она считала, что если кто-нибудь отметит связь между ее высыпанием и возбуждением или нервозностью, то получит знание, которое сможет использовать против нее. Такая вот, как считал он, вздорная теория заговора. Факт остается фактом – сыпь на ее коже могла быть для него или очень хорошим или очень плохим знаком. Он прекрасно знал, когда их споры с Надей могут перерасти в ссору. Ему достаточно было повнимательнее взглянуть на ее шею.

Вот и теперь, когда он смотрел на покраснение, начинающееся от подбородка и кончающееся неровными краями на груди, он не был уверен, что могло его вызвать. Возбуждение от его рассказа о матери? Или, может, просто возбуждение?

Она сидела на нем верхом. Вдруг резко встала, подняла с пола его рубашку, завязала вокруг талии наподобие парео и вышла на балкон, закрыв за собой дверь.

Выбираясь из постели, он бросил мимолетный взгляд на книгу, лежавшую рядом с подушкой. Неужели все из-за нее? Схватил книгу и отчаянным броском послал ее в металлическую корзинку под письменным столом. Видать, слишком много чувства вложил в этот бросок: книга полетела слишком высоко, попала в корпус компьютера, отскочила и, падая на столешницу, повалила деревянную рамку с фотографией. Он даже не дернулся приводить все в порядок, остался сидеть на краю постели и смотреть на лениво вертящиеся лопасти вентилятора.

В принципе, она была права: он не слишком много рассказывал ей о своем прошлом. По сравнению с трагедиями, с которыми она столкнулась в своей жизни, его прошлое могло показаться идиллией. Шаблонно-счастливое, скучное (если не считать драму юности, о которой он изо всех сил старался забыть), не стоящее того, чтобы о нем рассказывать. Кроме того, и это, пожалуй, главное, ему с ней было так хорошо и так свободно, что он не считал, будто что-то кому-то должен или обязан. И это, как ему казалось, было самым прекрасным в их союзе. И какое значение по сравнению с этим могла иметь его биография, если для него жизнь начала отсчет времени только с прошлого Рождества, а значит, и его прошлое началось тогда же, и рассказывать о нем не было смысла, потому что она прекрасно все знала, с самого первого мгновения. Общего для них обоих…

ОНА

Надя появилась в его жизни неожиданно. Ведь в ту пятницу восемнадцатого августа он мог оказаться в другом месте и тогда не встретил бы ее. А ведь он и вправду должен был находиться в другом месте.

Утром его разбудил телефонный звонок, определитель показал, что звонил отец. Если бы звонил кто-то другой, он не поднял бы трубку. Уже одно то, что звонит

отец, прогнало остатки сна и вселило беспокойство: отец звонил исключительно тогда, когда случалось либо вот-вот должно было случиться что-то очень неприятное. Он не помнил, чтобы отец звонил просто так и просто так спрашивал, мол, ну что, сын, как твои дела, как это часто делала мама. Отец звонил или с плохими новостями, или с каким-то поручением, или чтобы проверить, как он, его сын, данное поручение выполнил.

В то утро все было иначе. Он понял это уже по тону голоса. Важный подрядчик фирмы отца обеспечивал информационную инфраструктуру на каком-то «важном стратегическом объекте». Из отпуска неизвестно по какой причине не вернулся «их гребаный айтишник по локальным сетям, или что-то в этом роде, а ты ведь разбираешься в этих делах, ну так помоги нам». В первый момент он ушам своим поверить не мог: отец его просил о чем-то! Помнит, что спросил отца, понимает ли он, что его сын «хоть и айтишник, но всего лишь студент-второкурсник». Не давая сыну времени опомниться, отец продолжал давить:

– Понимаешь, Якуб, я это дело вижу так: этот их айтишник тебе в подметки не годится. Вот как я вижу это дело. Так что, пожалуйста, поезжай туда. Шеф той фирмы – мой приятель. Я обещал ему. Я знаю, ты сегодня собирался с мамой на концерт. Я уже позвонил. Пришлось долго упрашивать, но в конце концов она согласилась, чтобы я сегодня заменил тебя… В театре… Ну как, съездишь?

– Не вопрос. Надо так надо, поеду. Давай адрес.

– Адрес… Честно – не знаю. А относительно доехать не беспокойся – за тобой пришлют машину. Одежку там какую-нибудь собери, щетку зубную, что-то еще, потому что дело там не быстрое, объект какой-то странный, нетипичный. Все, спасибо, Куба, – тихим, спокойным голосом закончил отец.

Он не помнил, когда в последний раз отец называл его детским именем – Куба.

В рюкзак сунул лэптоп, щетку с пастой, смену белья. Через пятнадцать минут он уже был на заднем сидении огромного мерседеса. Неразговорчивый водитель в черном льняном костюме, белой сорочке и небрежно висящем под шеей ослабленном галстуке ничего ни о каком проекте не знал. Вопрос Якуба он сопроводил подозрительным взглядом:

– Это не мое дело. Шеф все уважаемому пану расскажет, а у меня всего лишь адресок в мобильнике, куда нам ехать. Могу лишь сказать, что какое-то захолустье на Мазурах, потому что даже GPS его не показывает.

– Тысяча извинений, – с улыбкой ответил Якуб. – Я ведь вас за шефа принял. Давно не видел такого шикарного галстука. Шелк?

– Шелк? – повторил водитель, взял галстук и поближе поднес к глазам. – А черт его знает. Дали, велели носить, приходится петлю на себе затягивать. А когда шеф не видит, ослабляю хомут, тем более в такую жару. Ну, скажем так, нормальный галстук. – На секунду шофер замолчал, а потом громко рассмеялся. – Это ж надо же такое – меня принять за шефа. Наш шеф вообще галстуки не носит. Только нам покупает. Из своих личных денег. А так сам ходит в трениках и кедах, купленных на распродаже в Lidl. На машинах не ездит. Разве что по производственной необходимости. А так – на велосипеде по всему миру. Да чего это я разговорился тут с вами, приедем – сами все увидите…

До конца пути шофер не проронил ни слова. Иногда только подавал голос, кратко отвечая на звонки, поступавшие на телефон.

После нескольких часов пути по нормальным дорогам и часа езды по лесной, пришло время песчаных тропинок, которые привели их наконец в то самое захолустье. Они остановились перед окруженным забором строением, похожим на замок. «Шеф» уже ждал их. Худой, высокий, с проседью мужчина со шрамом через всю левую щеку. В дырявой, заляпанной белой краской маечке и застиранных, затертых и потрепанных коротких джинсах на самом деле напоминал истощенного бомжа. Вместо кед с распродажи был обут в покрытые серой пылью резиновые сапоги. Первым делом он сердечно поприветствовал водителя, а потом подошел к Якубу и крепко пожал руку. Взял его рюкзак и сказал:

– Я Мартин. Очень рад, что у вас нашлось для нас время. Вы даже не представляете, как я рад. И надо же: вы ничуть не похожи с Иоахимом, – заявил он, широко улыбаясь, – хоть он и говорит, что сын – его вылитая копия. Я отнесу рюкзак в дом, вы не против? А вечером, ровно в девять, приглашаю вас в мою келью. У нас там с командой вечерний мозговой штурм. Все вам объясню. Сам не сумею – ребята помогут. – Он махнул рукой в направлении узкой песчаной тропинки, которая вела в лес. – А теперь, по случаю летней жары, предлагаю искупаться в озере. Вода там чистая. Кристально чистая. Только надо

поторопиться. Ворота закрывают в восемь. Такой порядок. Причем введенный женщинами. Потом все вам расскажу. Ополоснуться будет не лишне, потому что на объекте с душевыми напряженка. А если уж быть совсем точным, то душевая только одна, – добавил он иронически, – но зато самая настоящая баня. С фресками на стенах и росписями на потолке. Не знаю точно, какого века, но настолько старая и ценная, что пришлось даже пригласить сюда профессионального реставратора. Да вы сами все увидите…

Якуб слушал все это, хотя мало что понимал. Одно только совпадало: духота была такой плотной, что хоть ножом режь. После машины с кондиционером ему казалось, что он очутился у пышущей жаром открытой духовки.

Узкая тропинка, пересекавшая убранное хлебное поле, прямо перед лесом заворачивала в направлении зеленой стены прибрежных зарослей. Через несколько сотен метров похода вдоль плотной шпалеры высохших стеблей он дошел до небольшой полянки, с одной стороны окруженной кустами можжевельника, а с другой заканчивающейся крутым обрывом, переходившим в эллиптическую отмель небольшого песчаного пляжа. На конце помоста, уходящего далеко вглубь озера, он заметил неподвижный силуэт. Спрыгнул с откоса, встал, отряхнулся и прошел еще пару десятков метров до помоста. На его дальнем конце сидела женщина. Он окликнул ее, но она продолжала сидеть неподвижно, опустив голову. Он осторожно пошел по скрипучим доскам помоста. В одном месте они вообще отсутствовали: сломанные у самого края ржавой стальной конструкции, они свисали, доставая до поверхности озера. Он сделал шаг назад, собираясь прыжком преодолеть брешь, но внезапно почувствовал сильную боль. Длинный гвоздь, торчавший из доски, насквозь пробил ему ступню. Аж взвыл. Резко оторвал ногу от помоста, потерял равновесие и упал в воду. А падая в воду, ударился затылком о доску. И именно в этот момент женщина, сидевшая на краю помоста, прыгнула в озеро. Якуб выполз на песок, откашливаясь и выплевывая прибрежную тину. Из раны сочилась кровь. Он старался остановить ее, прижимая место рядом с раной. И тогда он услышал голос:

– Твой ботинок?

Он поднял голову. Перед ним стояла девушка и держала его мокасин, с которого капала вода. Он утвердительно кивнул. Девушка окинула его взглядом и, оценив серьезность раны, быстро сняла лифчик, свернула его в жгут, присела перед Якубом, наложила этот свой импровизированный бандаж на его ногу и изо всех

сил затянула. Кровотечение прекратилось.

Так одним жарким летним днем он познакомился с Надей.

Они стали близки уже через несколько дней после первой встречи. Неожиданным совпадением оказалось, что они живут в одном городе и что, если только захотят, смогут не ограничиваться «курортным эпизодом», после которого остается номер телефона, электронный адрес и несколько воспоминаний, тускнеющих со временем. Захотели. Оба. Стали проводить время вместе. Подружились. Эта дружба стала для него тогда самым важным событием. В те первые месяцы он не желал ничего другого. Ему хотелось простых чувств, спокойствия, и чтобы кто-то близкий был рядом. Но не настолько близкий и не настолько рядом, чтобы этот кто-то, когда привяжет его к себе, мог ранить его или манипулировать им. А ведь дело могло обернуться и так. А уж такого добра он уже успел хлебнуть в жизни и именно этого избегал.

Поэтому он не хотел, чтобы их связь – пусть тогда он их отношения так и не называл – началась, как это обычно бывает, с рассказов о прошлом. Ну а кроме того, какое к черту прошлое?! О чем он должен был ей рассказать? О девушках, которых у него не было, кроме той единственной, обожаемой, так никогда и не ставшей его, потому что сошлась с его кузеном. О том, как это перепахало его так глубоко, что в свои семнадцать он готов был перерезать вены? Или броситься под поезд? О том, что он хотел бы, наконец, стереть этот фрагмент прошлого из своей памяти до последнего бита? Все равно не получится, так что лучше и не думать об этом. Вот он ничего и не говорил ей, потому что нельзя говорить, не думая при этом о предмете разговора.

Потом в эту дружбу постепенно пролезло восхищение. Надя была на четыре года старше него. Хотя так же, как и он, студентка. Она очаровала его своей зрелостью, даже мудростью. Он ощущал себя польщенным: она обратила на него внимание. А когда они проводили время вместе, она сосредотачивалась исключительно на нем.

Трудно было не восхититься ее красотой, хотя она никогда не бравировала ею, не подчеркивала ее, если не считать блеска для губ и бесцветного лака для ногтей. Одевалась элегантно и со вкусом, но не экстравагантно. Чаще всего носила классический серый костюм с юбкой до колена или платье-костюм, под который надевала водолазку или блузку. Как правило, они были шелковые, в пастельных тонах. Но ему больше нравилось, когда она надевала белую.

Настолько прозрачную, чтобы через нее были видны очертания лифчика. Она не выставляла фигуру напоказ. У Якуба даже появилось подозрение, что по каким-то причинам она старается ее скрыть. Все равно в ней было что-то очень привлекательное, нечто воздушное, что трудно описать. Что-то очень женственное, хоть одновременно детское. Что-то вроде Лолиты, одетой в позволяющий сохранять дистанцию костюм стюардессы. Огромные, блестящие, подернутые влагой глаза, буря золотистых локонов, высокие скулы, маленький чуть вздернутый носик, пухлые губы. Ему случалось наблюдать реакцию мужчин на нее. И его ровесников, и тех, кто был в возрасте его отца. И ее реакцию – она их игнорировала. Когда она была с ним, то была только с ним.

Увлечение сменилось влечением, а ему на смену пришла своего рода ностальгия. Он возвращался домой после встречи с ней, ложился спать и, засыпая, мечтал о следующем свидании. Постоянно. И чувствовал при этом что-то вроде меланхолии и сентиментального умиления. Его чаще стала посещать грусть. Вдали от нее он чувствовал себя одиноким. Он, у кого на одиночество никогда не было времени. А теперь он не мог ни на чем сосредоточиться, не мог учиться, ему не хотелось писать программы. Даже музыка раздражала его. Он лежал на кровати и тосковал, ожидая какого-то знака свыше. Телефонного звонка, эсэмэски, хотя бы упоминания на Фейсбуке. Хоть чего-нибудь. Но ничего такого не случалось, а идиотская мужская гордость не позволяла ему самому позвонить или написать.

Надя ни на чем не настаивала. Не намекала, что ждет от него каких-то заявлений. Никогда не говорила о своем будущем, в котором отводила ему место. Это касалось в том числе и ближайшего будущего, будущей недели. Она на самом деле радовалась каждой их встрече, но не спрашивала, будет ли она, эта встреча, а если будет, то когда. Он не мог понять, почему. Они расставались, каждый возвращался в свою повседневность, и они на самом деле не знали, встретятся ли еще раз. Их договоренности обходились без жестких обязательств. Они обменивались посланиями на Фейсбуке, иногда посылали эсэмэски, иногда лаконичные мейлы, иногда общались по Ватсапу. Однако всегда для этого общения должен был найтись какой-нибудь повод, какое-то событие. Премьера фильма, новый спектакль, «уникальный» концерт в филармонии, «долгожданная» встреча читателей с автором в библиотеке, какая-то особенная лекция в университете или (и это в последнее время становилось все более популярным) в кафе или ресторане. Она тогда осторожно и очень деликатно выясняла: «ты сможешь», «у тебя найдется время», «есть у тебя желание», «может, это тебе будет интересно». Но всегда эдаким постскриптумом добавляла: «Мне очень бы хотелось побывать там с тобой.

Очень».

Этот постскриптум был для него самым важным. И самым прекрасным. Именно из-за него он делал все возможное, чтобы найти время. Даже когда приходилось отменять другие важные дела, прибегая к отговоркам, уловкам, а порой и вовсе ко лжи, его всегда «это» интересовало, хотя у него не было ни малейшего представления, с каким автором встреча в библиотеке, чью лекцию он прослушает или что за концерт будет в филармонии. Потому что ему тоже хотелось быть. С ней. Прежде всего с ней. Где угодно. Все эти встречи были лишь внешней оболочкой их свиданий. Она никогда не спрашивала его, пойдет ли он с ней на прогулку, пойдут ли они в город выпить кофе и поболтать, заскочить куда-нибудь на суши вечером и вспоминал ли он ее сегодня. Потому что точно знала, что суши он обожал, и думал о ней каждый день, не хуже, чем пациент с навязчивой идеей.

Так ходили они в театры и кино, посещали выставки, лекции и концерты в филармонии, встречи в библиотеках. Вряд ли, думал он, в их городе найдется такая пара студентов, способная обойти все те культурные мероприятия, которые посетили они во время своих свиданий.

Их отношения обходились без лишних слов, но одно слово в их отношениях было нелишним, и он его сказал. Дело было в начале декабря, в субботу вечером, когда они возвращались из театра. Дул сильный ветер, шел снег с дождем, и в ожидании трамвая они забились в самый угол остановки. Он заслонил ее собой от ветра. Под впечатлением от спектакля, Надя сначала долго молчала, а потом заговорила. Ей очень хотелось сказать ему, что у нее на душе. Она очень волновалась. Он заметил слезы у нее в глазах. Подъехал трамвай. Якуб дал ей платок. Она прижалась к нему и тогда он почувствовал, что момент настал. И сказал. До сих пор он не уверен, услышала ли она. По всей видимости, нет, потому что вагоновожатый нажал на тормоз, который издал страшный металлический лязг, а на ней в тот вечер была толстая шерстяная шапка, прикрывавшая уши.

Чаще всего они возвращались трамваем. На такси – только после ночных сеансов в кино. Ему хотелось быть с ней как можно дольше. От остановки, на которой они выходили, он провожал ее домой, прощался, целовал руку. Может, и старомодно, но именно так его научила мать. Он всегда ждал до тех пор, пока она не исчезала за дверью, а в окне кухни первого этажа не зажигался свет. Потом он стоял еще некоторое время, всматриваясь в дверь, в надежде, что,

может, все-таки она вернется, откроет дверь и пригласит его к себе. Но пока что такого не случалось.

Вот и за несколько дней перед Рождеством он так же провожал ее. Она сказала, что на праздники будет дома и если у него найдется желание и время, то вечером, естественно после семейного ужина, он мог бы заглянуть к ней, потому что она готовит лучшие в мире пироги с грибами и капустой.

Она пригласила его к себе! Надя решила впустить его в свой мир! Он помнил, что, когда возвращался на трамвае домой, ему хотелось петь.

Никогда прежде он не ждал Рождества с таким душевным подъемом. Даже когда он был маленьким мальчиком и вел подсчет, сколько еще раз ему придется засыпать и просыпаться, пока не придет время подарков, он не ждал того вечера с таким нетерпением. Он перекопал весь интернет, пока наконец не нашел в Польше магазин, в котором продавали лучшие акриловые краски для рисования на стекле, самого большого увлечения Нади. «Никаких подделок, только эти, импортные, произведенные на маленьком заводике в Португалии обеспечивают нужную интенсивность цвета» – говорила она. Он понятия не имел, что такое «интенсивность цвета», но он хорошо запомнил другое ключевое слово – Португалия. Он знал, что этим подарком доставит ей самую большую радость. И чтобы иметь гарантию, что подарок будет доставлен в срок (он не верил никаким обещаниям ни UPS, ни DHL, ни тем более Польской «Почты»), он несколько часов тащился поездом с тремя пересадками на «Дальний Восток», как говорил Витольд, который не мог понять, как это «ради какой-то девчонки можно провести столько часов в обнимку с польской железной дорогой». Якуб даже не пытался объяснять ему, что Надя – это не «какая-то там девчонка». Вит, как обычно, все сначала высмеивал, потом переходил на сарказмы, пока наконец не убеждался, что смеется над вещами важными, и уже тогда начинал выказывать удивление и восхищение. Поэтому Вита надо было переждать. Как говорила Марика, «Виткаций – аффективно двухполюсный: для перехода от сарказма к плаксивой взволнованности ему требуется не более четверти часа». Так было и на этот раз. Именно Вит подвез его на вокзал, откуда он направился в другой конец Польши, в маленький городок неподалеку от Хелма, чтобы лично получить краски для Нади. Тот же Вит ждал его ночью на перроне, когда он с большой картонной коробкой вернулся с «Дальнего Востока» Польши.

Наконец подошли праздники. Дождливые, ветреные, какие-то предвесенне теплые, с небом, затянутым темно-серыми тучами, на котором ни один ребенок

не имел ни малейших шансов увидеть хоть одну звездочку. А тем более первую. Бесснежное Рождество. Какое-то совсем не зимнее. Для Якуба это не имело никакого значения. К огромному удивлению матери, он с самого утра без лишних напоминаний помогал на кухне, потом они с отцом ставили и наряжали елку, делая это в невиданной доселе гармонии и согласии, без конфликтов, без взаимных обвинений в том, что и на этот раз лампочки в гирлянде не горят, как, впрочем, и всегда. Без умничанья, спокойно разговаривая, прислушиваясь к собеседнику, перебрасываясь шутками. Время от времени, заслышав громкие голоса, мать влетала в гостиную со строгим лицом, готовая сгладить конфликт. Он помнит ее вздохи облегчения, когда оказывалось, что крики эти – никакая не ссора, а громкая реакция на шутки и восторги, что «вот она, нарядная, на праздник к нам пришла». Когда они закончили, отец исчез в спальне, а он сел за пустой стол. Из кухни слышалась мелодия какой-то колядки, прерываемая пением матери и отзвуками ее суеты на кухне. Дом пах елкой и непременным атрибутом рождественской Вигилии[3 - Вид общественного богослужения у католиков.] – борщом.

Якуб всматривался в отражение лампочек в окне, думал об отце.

Со времени памятного августовского «проекта для Мартина» отец изменился – стал другим. Да и он тоже старался стать другим сыном, хотя после возвращения с Мазур им случилось поговорить только раз. Одним сентябрьским утром, в ванной, во время бритья.

– Мартин вчера написал мне, что ты работал десять дней по двенадцать часов. Иногда даже ночью, – неожиданно заговорил отец. – Исходя из ставки двести злотых за час, получается двадцать восемь тысяч.

– Это невозможно, – удивился Якуб.

– Что же здесь невозможного, сынок?

– Чтобы Мартин так ошибся. Умножить десять на двенадцать и на двести – элементарно, получается двадцать четыре, задача для первоклассника, – ответил он спокойно. – Для меня это конечно сумма, но делал я это не из-за денег. Ты попросил – я сделал.

– Ничего он не ошибся, сынок, – сказал отец изменившимся голосом. – Он никогда не ошибается. Такой уж он. Ты работал в субботу и в воскресенье. Головой работал. А за это полагается надбавка в две тысячи. Так в контракте.

– Все равно не сходится, папа, – тихо прервал он отца.

– Формально ты прав, – ответил отец. – Но неформально Мартин считает, что поймать сигнал на бесконечном поле за высокой стеной – космическое мастерство. И что за это положена премия. Впрочем, точно так же считают и все в его команде, – добавил он, смеясь.

А потом произошло нечто немыслимое. Отец обнял его и сказал:

– Спасибо тебе, сынок. Ты даже не знаешь, как я был горд тобой, когда при сдаче проекта ко мне постоянно приходили и говорили, мол, Куба то, Куба се. Я всегда гордился тобой. Ничуть не меньше мамы. И не меньше, чем она, люблю тебя. Правда, иногда мне трудно это выразить, у женщин это всегда лучше получается. Ты – лучшее, что у меня есть в жизни. Я уже давно хотел сказать это тебе, – с этими словами крепко прижал сына к себе.

Из раздумий его вывел голос матери.

– А ты, Куба, чего расселся? Все уже переделал? Вот, скатерть бы постелил что ли… Что с тобой, сынок? – спросила она испуганно. – Ты плачешь?

– Я? Плачу? Неужели? – ответил он, еще сильнее склонившись, чтобы скрыть смущение. – Это все отец, растрогал меня… Хотя у тебя это получается лучше.

– Папа? Растрогал? Тебя? – росло удивление в ее голосе. – Понятно, сынок, понятно. День сегодня такой, что человек дает волю чувствам. Рождество все-таки… – шепнула мама и поцеловала его в щеку.

Стала расстилать белую скатерть. Якуб поспешил ей на помощь.

– Справлюсь, а ты иди и приоденься, пожалуйста, да понаряднее, сними это старье. Может, голубенькую? Вот тогда ты на самом деле увидишь, как растрогается отец. Это я тебе точно говорю.

К рождественскому столу он пришел в новой рубашке. Голубой. И в темно-синем костюме с синим платочком, выглядывавшим из нагрудного кармашка. Отец смотрел на него подозрительно, не скрывая удивления, а мать прятала улыбку.

После долгой и патетичной речи отца все подошли к елке, чтобы поделиться друг с другом облаткой[4 - Тонкий листок выпеченного пресного теста, наподобие вафли, часто с тиснеными изображениями на ней. Облатки благословляют в Рождество, а затем делятся ими с родными. Обычай распространен среди ряда католических народов восточной Европы.]. А когда они стали обниматься, у мамы, как всегда в такие мгновения, на глазах появились слезы, а отец неуклюже пытался спрятать волнение. Потом настало время распаковывать подарки, петь колядки, и, наконец, все уселись за праздничный стол.

Якуб думал о Наде. Чем она сейчас занята? С кем? Как выглядит? Ждет ли его? Что будет сегодня вечером? Примерно в девять вечера он взял из комнаты тяжелый рюкзак с перевязанным лентой подарком – баночками краски. Прежде чем он снял с вешалки куртку, мать застегнула ему верхнюю пуговку на рубашке и, целуя, шепнула на ухо:

– Ты самый импозантный мужчина, какого я только знаю. Ты должен чаще носить костюм. Обязательно, сынок.

Потом она быстро сбегала на кухню, вернулась, сунула ему в руки формочку, завернутую в алюминиевую фольгу, и сказала:

– Маковый пирог всегда кстати. Куда бы ты ни шел. Если не придешь ночевать, постарайся все-таки к завтраку быть дома. Мы не начнем без тебя. Будем ждать. Помни, – добавила она, целуя его в щеку.

Дом Нади светился праздничной иллюминацией. Все окна были украшены силуэтами новогодних елок, санта-клаусов в красных одеяниях, лезущих на балконы, звездами и звездочками на фоне темно-синего неба. В маленьком садике перед домом на нескольких сбросивших листву кустах смородины горели лампочки. Небольшой двухэтажный фахверковый[5 - Строительная конструкция с несущими столбами в качестве опоры.] домик на фоне шикарных пятиэтажек, окруживших его с трех сторон, выглядел словно иллюстрация к сказке.

– Ума не приложу, как этим людям из восьмого дома удалось сохранить садик, да и сам дом. В наше время это или героический поступок, или деньжищи немереные. Не в курсе? – спросил шофер, когда они остановились перед Надиным домом.

Якуб удивленно посмотрел на него:

– А мне-то откуда знать?

– Как откуда, ты сюда со мной уже восемнадцатый раз ездишь. Вот она – история поездок. Вот я и подумал, может, чего-нибудь знаешь, – улыбнулся шофер.

– Восемнадцатый, неужели? – удивился Якуб. – Хотя, что это я. Ведь вы Uber. Сам писал вам программы. Вы все знаете. Даже больше, чем налоговое ведомство. И полиция нравов… Может, я чего и знаю, но это история длинная и непростая, а я, прости, спешу. Сам понимаешь, Рождество и всякое такое. А кроме всего прочего, не уверен, не подпадает ли доступная мне информация под закон о защите данных. Точно так же, как и история моих поездок. Что ты об этом думаешь, приятель? – засмеялся он и побыстрее покинул такси.

Он поднялся на крыльцо, постоял, прислушиваясь. Из дома не доносилось ни звука. Мертвая тишина. Чугунной лапкой-колотушкой в форме подковы он постучал в дверь. Вдруг его охватили непонятная нервозность и беспокойство, как первокурсника перед экзаменом.

Наконец заскрипели двери и на пороге ярко освещенной прихожей появилась Надя. С бокалом вина, в коротком черном кружевном платьице, открывающем плечи, волосы сплетены в косу, перевязанную золотистой лентой в крупный черный горошек. Он никогда еще не видел ее такой. Глаза, оттененные макияжем, показались ему значительно больше, как и покрытые карминовой помадой губы. Перед ним была какая-то неизвестная ему Надя. Другая. Он и раньше видел ее плечи открытыми, но платье по-новому показало и обнаженность ее плеч, и контур груди. Он помнит, как она, заметив его восхищение, улыбнулась, нежно поцеловала его в щеку и шепнула:

– Ну наконец-то, ты здесь.

Потом взяла его за руку и узким темным коридором провела в большую комнату. Он уловил запах старой древесины и сушеных грибов. Комнату освещало несколько бра в форме подсвечников.

Надя молча дала ему свой бокал и, не отрывая взора от его глаз, стала расстегивать пуговицы его куртки. Не спеша. Одну за другой. Было в этом что-то чувственное, эротичное. Он стоял неподвижно и смотрел на ее руки. Между тем поставил рюкзак на пол. Запустил пальцы в ее волосы и властно привлек ее к себе.

– Боже! Борщ! Сейчас зальет всю плиту! – вскрикнула она, выскользнула из его объятий и побежала к узкой двери.

Наконец он смог оглядеться. Если не считать огромного дубового стола на массивных резных ножках, комната была практически пустой. Стульев не было. Вдоль стен на полу из широких досок стояли деревянные оконные рамы. Одни с остатками краски, другие обветшавшие, с остатками оконной замазки и торчащими кусками стекол. Стены словно в галерее были увешаны фотографиями. Некоторые были выполнены в технике сепии, большинство – черно-белые. Самых разных размеров. Маленькие, будто их только что достали из альбома, прикрепленные кнопками к обоям из грубой ткани, а также огромные – в паспарту и в деревянных рамках.

Он кинул куртку на рюкзак и начал медленно обходить комнату, внимательно присматриваясь к фотографиям. Одни он удостаивал лишь мимолетным взглядом, у других останавливался подольше.

– Устроим себе, наконец, Вигилию, – вдруг услышал он голос сзади. – Мой дом ты осмотришь позже. Обещаю тебе, что покажу тебе все и что это займет не более пяти минут. Я ужасно голодна. Я не хотела сегодня начинать без тебя.

Он повернулся. Она сидела на столе, улыбалась ему и чувственно облизывала ложку. На ней был короткий белый фартучек с карманом спереди, волосы перетянуты белой лентой, завязанной на лбу. А когда он заметил белую подвязку на бедре, то у него в голове сразу возникла ассоциация с веселой горничной из фривольного фильма. Она соскочила со стола и спросила:

– Ну как?

На кухне она сняла фартучек и распустила волосы. Усадила его за небольшим столиком, покрытым цветастой клеенкой. Новой, блестящей.

Запах клеенки он помнил с детства. С посещений деревенского дома прабабки, бабушки его отца. Только новая клеенка могла так пахнуть. Когда родители привозили его на каникулы, прабабушка Леокадия всегда покупала новую клеенку «в свою хибару», а для него, для «чертенка Кубуся», каждый год – новые кожаные «боретки» и серебряную цепочку с крестиком, который «ксендз из костела что на горке, специально для Кубуся» освящал в воскресенье. Он все еще хранил покрытые патиной цепочки и крестики в металлической коробочке на шкафу, что стоял в его комнате.

Он украдкой осмотрелся. Кухня поразительно напоминала ту, прабабкину, деревенскую. Низкий хлебный шкафчик с отверстиями, через которые поступал воздух. Пол из досок, пестрящих сучками, вышитые темно-синей ниткой гобелены развешанные на деревянных балках. Одна маката, с девизом «Холодная вода – здоровью скажет ДА» (точно такая же была и у прабабки), висела у Нади над белым эмалированным тазиком с темно-синей полоской вдоль края. В похожем тазике прабабка ему-малышу мыла ноги, когда он вечерами приходил с улицы. Воду она грела на похожей печке-вестфальке с круглыми чугунными конфорками. В кухне у Нади на столешнице с одной стороны стояла газовая плитка, а с другой – микроволновка.

Рядом с тарелкой, на которой лежала маленькая еловая веточка и стояли чашки с дымящимся ароматным борщом, Надя поставила фарфоровую миску с варениками. Сама же села напротив. Они смотрели друг другу в глаза. Он заметил румянец, постепенно покрывавший ее лицо и шею.

– Тебе идет эта голубая рубашка, знаешь? Тогда твои глаза становятся еще… – Она не закончила. Резко сорвалась. – Нет! Еще не время! Сначала облатку! Куба, да что же это я, подожди!

Она подскочила к крашенному масляной краской фисташковому серванту, с верхней полки достала маленькую, щербатую, отмеченную пятнами старости тарелку, подошла к Якубу и сказала тихо:

– Ну вот и облатка. Наша первая.

Он вскочил со стула и застегнул пиджак. Она взяла его руку, прижала к губам, а потом вложила ему в руку облатку. Отодвинулась сама, отодвинула тарелку и, держа облатку, сказала:

– Слушай, Куба, я в этом деле неопытная. В жизни я, может, и много говорю, но это все так, разговоры, не речи. А теперь я собираюсь произнести речь. Я долго думала, когда настанет подходящий момент, и решила, что лучше, чем сегодняшний вечер, наверное, и не будет.

Она замолкла, наморщила лоб. Выглядела как человек, который собирается с мыслями.

– Давно уже я не встречала Рождество с близкими. Наверно поэтому так замешкалась с облаткой, – пошутила она, но сразу же стала серьезной, – С тех пор, как умерла бабушка и я осталась одна, я каждый раз убегаю отсюда, из этого дома, куда подальше, чтобы пережить Вигилию и Рождество. Маленькой я часто оставалась дома одна, так что одиночества не боюсь, а если чего и боюсь, так это воспоминаний, которые навевает мне этот дом. Воспоминания человека достанут везде, но здесь они ощущаются болезненнее всего. Я собирала чемодан и уезжала. Потому что встреча Рождества здесь была для меня невыносимой. Я думала, что чем дальше я уеду, тем труднее будет воспоминаниям догнать меня. Ах, если бы… Не работает.

Она смахнула слезу и продолжила. Ее голос дрожал:

– В этом году я тоже наверняка куда-нибудь уехала бы, но появился ты. Как пришелец из другого мира. Одно время я боялась, что ты просто прилепился из любопытства и скоро пропадешь. Я боялась, что ты перерастешь меня, отбросишь, как прошедший отпуск. Но нет, ты не исчезал. Ты остался. Ты был заботливым. Мужская заботливость очень меня трогает и пробуждает прекрасные воспоминания. Ты был нежным и терпеливым. Твоя ненавязчивость поначалу очень импонировала мне, но потом стала бесить. Ты даже не пытался взять меня за руку в кино, не прикасался к моему плечу в театре, не клал свою ладонь на мою, когда мы пили кофе. Ты был совсем другой, чем те, кто был до тебя. Это из-за них я предпочитала занять оборонительную позицию. На всякий случай даже от тебя. И вдруг я заметила, что несмотря на это, ты как-то неловко постоянно показываешь мне, что я нужна тебе. Может, это не так романтично, но в сущности женщинам именно это и нужно. Чувство, что они нужны мужчинам. Только ханжи или лжецы говорят иначе. Я почувствовала это, Якуб, –

прошептала она. – Как-то раз вечером я почувствовала, что нужна тебе и что я хочу, чтобы ты и дальше заботился обо мне. Можно подумать, что это нахальство с моей стороны, эгоизм… А если это любовь?

Она замолчала. Опустила голову, будто устыдилась сказанного, но тут же взглянула ему в глаза и добавила:

– Наверное, тебе это кажется странным, но у меня нет никого ближе тебя на свете. Хороших тебе праздников, Якуб.

Он совершенно не ожидал услышать такое. Он помнит, что хотел что-то обязательно произнести, что-то соответствующее торжественному моменту. Хотел сказать, что ждал ее сегодня с нетерпением. Что ждал ее так долго, и эта его нерешительность от страха, что он мог ее потерять. Что сказанное им тогда, на остановке, когда они возвращались из театра, – самая правдивая из всех правд. А относительно того, нужна ли она ему, он не знает, но, когда просыпается утром, его первая мысль – о ней. А потом приходит следующая, и тоже о ней. И так весь день, пока не заснет, и даже после того, как заснет, потому что она часто ему снится. Если необходимость проявляется в этом, то она наверняка ему необходима.

Он хотел ей сказать еще много разных вещей, но она не позволила. Поднялась на цыпочки и осыпала его поцелуями. Обхватила его лицо и целовала, целовала, целовала. Потом расстегнула его пиджак и запустила руку ему под рубашку. Он не открывал глаза, его тело охватила дрожь, кружилась голова. Когда он попытался ухватить ртом и стянуть с нее платье, она прошептала ему на ухо:

– Куба, давай отложим Вигилию чуть-чуть на потом, ладно?

Он не помнит, ответил ли что-нибудь. Все произошло так быстро. Она схватила его ладонь, они пробежали через комнату с фотографиями, он споткнулся о рюкзак, упал, она протянула ему руку, помогла встать. Они вбежали на узкую скрипучую лестницу, которая резко уходила вверх и заканчивалась прямоугольным проемом. Он подумал, что они вылезают через люк на крышу. Когда он просунул голову в этот люк, Надя подала ему руку и помогла выбраться наверх. Он оказался в чердачной комнатке. Свисавшая с потолка на длинном проводе лампочка без абажура светилась оранжевым светом. В комнате пахло апельсинами, и до сих пор он не знает, почему так. В нескольких метрах от лаза

на двух слоях поддонов из неструганой древесины лежал толстый матрас, прикрытый зеленоватым сукном. Надя встала рядом. Сняла платье. Когда он подходил, она повернулась спиной и расстегнула лифчик.

Это был их первый раз. Дикий, жадный, животный, суетливый. Из тех нескольких минут он помнит очарование ее наготой, запах кожи и влаги между ее бедрами, дрожащие пальцы, запущенные в ее волосы, когда она стояла перед ним на коленях. Больше практически ничего. Зато он хорошо запомнил пришедшую потом нежность, когда они, слившись друг с другом, переплели пальцы, касались лиц, обнимались и гладили друг друга по голове. Он помнит, что они в основном молчали, иногда лишь шепча друг другу отдельные слова. В определенный момент Надя передвинулась к краю матраса и коснулась рукой пола. Лампочка медленно погасла. В темноте он услышал шаги, а потом вдали увидел лицо Нади, подсвеченное мобильником. Чердак наполнился музыкой.

– Не помню, когда, но однажды вечером я очень захотела послушать это с тобой в постели, – сказала она, ложась рядом с ним на живот. – Знаешь эту музыку?

Он подождал до очередного припева и тихо запел:

Останься здесь, и больше не ищи

Нигде того, что здесь нашел.

Без лишних слов останься.

Она запела вместе с ним. Когда музыка кончилась, он сказал:

– Это из раннего Кортеза. Наверное, самый старый вариант. Однажды я увидел, как мама плакала, когда слушала его на Ютубе. Попросила, чтобы я ей поставил такой звонок на телефон. До сих пор стоит. А потом взяла меня на его концерт. Представляешь: она меня, а не я ее! – добавил он хохоча. – Это был какой-то клуб. И там она тоже обревелась. На сцену вышел невзрачный худой парень в черной футболке и в бейсболке, поздоровался тихо: «добрый вечер» и за полтора часа сумел растрогать всех, а потом также робко попрощался и исчез. На выходе все мурлыкали его мелодии.

– Твоя мама? – воскликнула она. – А ты хоть поинтересовался, почему она плакала? – тихо спросила она и, не дождавшись ответа, отвернулась и замолкла.

Он склонился над ней и стал целовать ее: сначала плечи, потом он добрался – в первый раз – до волшебного бугорка над ягодицами. На чердаке звучал меланхоличный Кортез, а они второй раз, так же жадно, так же дико буйствовали на матрасе.

Он помнит, что проснулся от пронизывающего холода. Поднял голову и сквозь запотевшее стекло окна увидел расплывающиеся контуры. Обнаженная Надя, повернувшись к нему спиной и подняв руки вверх, неподвижно стояла тут же за узкой стеклянной дверью, ведущей на балкон. В комнате было тихо, на узком подоконнике мерцало колыхаемое потоками воздуха пламя свечей.

– Что происходит? – воскликнул он испуганно.

Поначалу она не реагировала. И лишь какое-то время спустя вошла внутрь, подняла с пола платье и надела его. Потом подошла к нему, села на краешек матраса, наклонила голову, положив ее ему на живот и прошептала:

– Какая ночь! Сколько звезд на небе! А значит и та самая, первая, Рождественская, тоже должна быть среди них. Наша звезда. И это Рождество тоже для нас… Двенадцать уже било, не знаешь?

Они лежали молча, прислушиваясь к звукам за окном. Он чувствовал на своей коже ее теплое дыхание и нежно гладил пальцами ее щеки, лоб, губы, веки.

– Может, накинешь что-нибудь на себя, пока я подогрею вареники и борщ. Но сначала, дорогой, застегни мне крючки на спине, хорошо? – и присела на краешек матраса.

Он помнит, как в темноте дрожащими пальцами он неумело искал крючки, взволнованный только что прозвучавшим «дорогой». Как-то неожиданно. Одно слово, а как сокращает дистанцию между людьми.

Они вернулись на кухню и снова оказались друг против друга, глаза в глаза: она в кружевном платьице, он в пиджаке – праздник все-таки. Она поставила перед ним миску с дымящимися варениками, а рядом с еловой веточкой – кружку с борщом. Все было точно так же, как и в начале, когда он впервые появился здесь. Вроде как ничего с той минуты особенного не произошло. Но сколько

всего на самом деле было! Лишь крошки преломленной облатки да запах новой клеенки напоминали ему о том, что за стол они садятся уже второй раз. Садятся другими. Совсем другими.

Разговорились. Говорили обо всем, но только не о том, что во время их первой Вигилии произошло на чердаке. Шутили, флиртовали, вспоминали. Он помнит, что, когда были съедены все вареники, Надя достала из холодильника филе карпа и стала жарить его на маленькой сковородочке. «Какое Рождество без карпа?» – резонно спросила она, когда он попросил ее не вставать из-за стола.

С Надей ему было легко, с ней он мог не напрягаться и действительно расслабился до такой степени, что неосмотрительно спросил, почему она прячется здесь, почему в такой вечер она не с родителями? Где они встречают Рождество? Почему они не с ней? Немедленного ответа не последовало. Она долго молчала и смотрела на него так, будто что-то решала, взвешивала. Вдруг соскочила с места и достала из холодильника две бутылки белого вина и поставила на стол. Из буфета достала два высоких бокала и оба наполнила до краев. Не ожидая Якуба, выпила свой до половины. И тогда заговорила. Ее голос был спокойным, порой даже каким-то отстраненным, монотонным. Она нервно скребла ногтем клеенку, иногда вскидывала голову, чтобы проверить, сколько вина осталось в ее бокале, чтобы украдкой заглянуть ему в глаза. Он не прерывал ее. Больше ни о чем не спрашивал. Сосредоточенно молчал, слушая ее рассказ, который совершенно не ожидал услышать. Больше в том рассказе было о смерти, чем о жизни. Иногда его сковывало оцепенение, иногда охватывал страх. Надя четко выдерживала линию: даже если отвлекалась на детали, то все равно всегда возвращалась к главной теме. Так же, как и тогда, во время ее торжественного монолога. Она последовательно отвечала на заданные им в самом начале вопросы, рассказывая при этом о своей жизни. Время от времени она начинала фразу словами «мамы тогда не было, потому что…» или «папы тогда не было, потому что…», «я сбежала, потому что…». И тогда срывался ее голос, она замолкала, правда, только на мгновение. А потом делала глубокий вдох и возвращалась к спокойному тону. Когда она закончила, на кухне воцарилась тишина, и она пригубила вино. Он смотрел как она медленно, неспешно, глоток за глотком опорожнила бокал. Он видел ее подернутые слезами глаза, он видел ее руку, которая так сильно дрожала, что вино выплескивалось из бокала и лилось на пальцы. Она допила вино, провела рукой по волосам, поправила прическу. Потом встала и подошла к Якубу, села ему на колени, поцеловала в губы и сказала:

– А теперь обними меня и давай посидим так молча.

Она положила голову ему на плечо. Он крепко обнял ее, и они так просидели какое-то время. Наконец она взяла его за руку, и они вернулись на чердак. Только там, в темноте, он начал расспрашивать ее, просил объяснить детали и отступал, когда она начинала плакать. Спать они легли, когда на часах было уже четыре. Он сказал Наде, что хочет вернуться домой на завтрак. Она завела огромный, старомодный, громко тикающий будильник и для верности поставила его подальше от матраса – на письменном столе.

Впрочем, будильник ему не понадобился. Он проснулся, почувствовав поцелуи на своих веках, и сразу – аромат свежесваренного кофе. Сидя на балконе под одним одеялом, они пили кофе из эмалированных кружек, молча наблюдая за людьми, спешащими в костел. Когда он уходил и был уже в дверях, она попросила его подождать и вернулась с диском Кортеза.

– Поставь его сегодня маме. Между колядками, – сказала она, запихнув CD в его рюкзак.

Обняла и поцеловала, положив ему на ладонь ключ и сжав его пальцы своими в кулак.

– Приходи сюда почаще, – шепнула она. – А сейчас иди. Нельзя опаздывать.

Когда он был уже у калитки, она крикнула ему вдогонку:

– С праздником, Куба!

Уже сидя в трамвае, он рассмотрел старомодный латунный ключ, который она дала ему. Прицепил к связке своих. Ключ был тяжелый и значительно больше остальных ключей, какой-то непрактичный, распирал карман. Несмотря на это, он решил никогда с ним не расставаться.

Для него это было чем-то большим, чем просто ключ. Очень похожий был у него на шнурке на шее, когда проводил летние каникулы у прабабушки Леокадии, над Бугом. Когда прабабка шла вечером в костел «что на горке», а ходила она туда каждый день, ему удалось ее уговорить оставить его дома и дать поиграть

с кошками, во дворе или в пустой конюшне. Она давала ему ключ на длинном кожаном шнурке, наставляя не впускать «на двор бандитов». Якуб радостно и убедительно поддакивал, вешал ключ на шею, прятал под фланелевой рубашкой, а прабабка Леокадия спускала с цепи хромую волкодавиху Тосю, которая от старости едва могла махать хвостом, камнем подпирала высокие ворота хлева, где держала корову Млечусю, и запирала на висячий замок ворота. Слепая на один глаз Тося обходила ворота, находила ближайшую дыру в заборе из ржавой проволоки и вскоре медленно ковыляла за прабабкой по полевой тропке, жалобно воя. Потом собака возвращалась, видно, не надеясь преодолеть горку, на которой стоял костел, длинным розовым языком лакала воду из жестяной миски и исчезала в деревянной будке, покрытой кусками толи. Ее ничуть не интересовали никакие бандиты, и вылезала она из будки только к возвращению прабабки Леокадии.

Ключом, который ему вручила Надя, ему до сих пор не приходилось пользоваться. Не хотел. Предпочитал постучать висевшей на двери чугунной колотушкой и подождать, когда улыбающаяся Надя откроет сама, прижмется к нему, поцелует и, глядя в глаза, пригласит войти, чувственно прошептав: «Ну, что стоишь, входи». Тем не менее, он всегда носил его с собой. Передача ключа в то праздничное утро говорила о том, кто он для нее, гораздо больше, чем любое словесное признание.

С того Рождества он стал появляться в доме под номером восемь регулярно. Когда оба они были в городе, что случалось не часто, потому что Надя много путешествовала, он приходил в пятницу к вечеру и они жили вместе до воскресенья. Именно так: жили, а не просто оставались вместе. Две ночи и неполные три дня непрерывно друг с другом. Не дальше, чем на расстоянии голоса. Как супруги на уик-энд, которых теперь становится все больше.

С понедельника до пятницы они писали друг другу письма. Не электронные. Обычные, бумажные, которые носит почтальон. С ней это очень не вязалось, потому что Надя была типичной представительницей поколения Z. У нее были странички на Фейсбуке, в Инстаграме, Ватсапе и Твиттере. Было у нее три разных адреса: один на Gmail, один институтский и один на немецком GMX. А поскольку она терпеть не могла ходить по магазинам, то большинство покупок, в том числе и продуктовых, делала через интернет. В банке она была только раз. С паспортом, когда открывала счет. Перешла на чтение электронных книг, когда ее спальня на чердаке не могла уже вместить больше полок, а она «книги в подвал снести не сможет, потому что это вроде похорон, да и места для них и

там тоже больше нет».

И вдруг эта, так зависимая от TCP/IP, Wi-Fi, GSM, NFC и еще нескольких акронимов, Надя стала писать и отправлять настоящие, бумажные письма. Нежно выводила слова милыми каракулями на бумаге, слюнявила бумажные марки, приклеивала их к настоящим конвертам и шла к почтовому ящику, чтобы успеть ко времени выемки. Для надежности фотографировала ящик на мобильник и устанавливала будильник на пятнадцать минут перед каждой выемкой. Якуб ждал этих писем, которые мама клала ему на письменный стол, отвечал в тот же день, тоже слюнявил марки и тоже спешил к почтовому ящику. Его цифровая Надя стала романтично аналоговой. «Я хочу, чтобы у меня остался след от тебя, который сохранится даже тогда, когда в мире больше не будет электрического тока», сказала она ему как-то раз, когда он появился раньше и застал ее с конвертом в руке.

Вскоре в их совместной жизни появились ритуалы.

Впрочем, может, и не ритуалы, но некоторые повторяющиеся сценарии. В пятницу, когда он приходил, они сначала занимались любовью. Они занимались этим практически везде – на матрасе, иногда в кухне, иногда в тесной ванной, вырезанной из ската чердака тонкой разделительной стеночкой, оклеенной водоотталкивающей пленкой – но никогда в сумрачной комнате с фотографиями на первом этаже. Потом до полуночи разговаривали у стола на кухне, а под конец перебирались на чердак и лежали, прижавшись друг к другу, смотря какой-нибудь сериал на «Нетфликсе» или HBO. Ему нравилось ходить с Надей в кино, но фильмы на матрасе имели существенную дополнительную ценность. Во время, как она говорила, «стримов», можно было начать целоваться и предаваться ласкам. Или раздевать друг друга.

Иногда они спорили, что посмотреть. Помнит, что как-то раз выбор был между «Во все тяжкие»[6 - Американская телевизионная криминальная драма, 2008–2013.] и «Вавилон – Берлин»[7 - Немецкий сериал в жанре неонуар, 2017–2020.]. Надя по причине ностальгии всегда предпочитала немецкий «Вавилон – Берлин». Гениальное произведение. Зрелищное. Подробно восстановленная действительность мрачных времен Веймарской Республики. К тому же держит в напряжении. Напоминал ему тетиву лука. Абсолютный шедевр. Заметьте, первый немецкий сериал, какой ему довелось видеть в жизни. А вот «Во все тяжкие», хоть и был произведением меньшего масштаба, ассоциировался у него с взведенным арбалетом – держал в значительно

большем напряжении. Это благодаря ему он, может, не столько полюбил химию, сколько, скажем так, впервые по собственному желанию к ней приобщился. Выучил, например, наизусть все химические элементы. В школе это ему никогда не удавалось. Надя была в приподнятом настроении, когда после очередной серии он слез с матраса, встал перед ней по стойке смирно и без запинки рассказал всю периодическую систему. Элемент за элементом. Атом за атомом. А когда он, гордый и довольный собой, ждал ее восхищения и заслуженной похвалы, она лишь кивнула головой и сказала с напускным разочарованием:

– А где москов, парень? А где нихон, не говоря уже о тенесе и оганесоне? Проспал ты, видать, прогресс химии! В две тысячи шестнадцатом семья Менделеева увеличилась на четырех новорожденных. Немедленно обратно в постель и учиться!

Гуманитарий по своей природе и по убеждению, Надя обожала химию и на удивление прекрасно ее знала. Поначалу он видел в этом странный диссонанс, но теперь он больше так не думал. Надя полагала, что создатель мира не был биологом, а если никакого создателя не было, в чем она в принципе была убеждена, то «эволюция тоже была не биологичкой, а химичкой, потому что все это немыслимое разнообразие мира, вместе с голубизной твоих глаз, – это всего лишь химия, переодетая в биологию».

Историю, которая так увлекала его в «Вавилон – Берлин», Надя почему-то недолюбливала. По программе своей учебы она была обязана знать эту научную дисциплину и наверняка знала значительно лучше других. По сравнению с тем, как владела историей она, его познания выглядели микроскопическими. Она часто повторяла, что история, та история, которую человек получает из школьных и институтских учебников – это зафиксированный и растиражированный сговор политиков. Чаще всего в сговор вступают политики, больные хроническим нарциссизмом. А таких большинство. Поэтому, кроме опасностей, от которых якобы только они могли уберечь суверена и мир, в историю вползает фарс, гротеск и всеобщее идолопоклонничество. К тому же историю всегда пишут победители, одурманенные своей победой, частично лишившиеся рассудка. Конечно, случается, что благородные политики перепишут что-нибудь под себя (впрочем, по мнению Нади, это происходит крайне редко, а «благородная политика» – это, как правило, оксюморон), отфильтруют самый большой вздор предшественников, и в историю проникнет немного правды. Такое если и бывает, то чаще всего непреднамеренно, когда вспоминают об ошибках прошлого.

Надя редко говорила о политике, а если и говорила, то кратко, желчно и с чуждой ее мягкому нраву озлобленностью. С самого начала так называемых «перемен к лучшему» в Польше она испытывала к политике неприятие на грани физиологического отвращения. Она не смотрела телевизор, не заходила на политизированные порталы, слушала исключительно немецкие информационные станции, игнорировала газеты. Этих последних она избегала как «ментальной заразы». Причем всех, вне зависимости от того, на какой стороне баррикады они выступали.

Однажды она призналась, что обходит стороной магазины и киоски, которые выставляют газетные стойки снаружи. «Неровен час, выскочит оттуда крыса с газетой со страшным заголовком в пасти». Несмотря на это, она прекрасно знала, что, кого и как «поджаривают на национальном гриле». А знала она все это, потому что очень хотела знать. Она не стала прятать голову в песок, как многие молодые люди ее поколения. Все происходящее было ей далеко не безразлично.

Причем иногда до такой степени небезразлично, что все остальное теряло значение. Она бегала по ночам протестовать перед судами, смешиваясь с толпой одетых в черное женщин, раскрывала зонтик, надевала на памятники майки с надписью «Конституция»[8 - Эмблемы единства протестующей толпы. – Прим. перев.]. Она считала, что надо что-то делать, что нельзя стоять в стороне, потому что это ее страна, да и «папка сделал бы то же самое». Вот почему она не соглашалась с «тем мальчиком», который пел: «Я не хочу жить политикой. Когда толпа в городе, я дочкам кашку сварю (ешьте овощи)»[9 - Павел Домагала «Не спрашивай». – Прим. перев.]. А то, что у этого «чертова Павлика, такого же, как и я, миллениала, только чуть старше меня», целых пятьдесят шесть миллионов просмотров на Ютубе, было для Нади показателем, что общество достигло «пика конформизма». «Ведь что для него самое главное? Чтобы кормушка была полна и чтоб овощи были». И когда Надя говорила это, явно чувствовал гнев, клокочущий не только в ее голосе.

Впрочем, как раз в вопросе бегства их поколения от политики он не вполне разделял ее взгляды. Действительно, этот бесконечный бардак на улице Вейской[10 - На улице Вейской в Варшаве находится Сейм – парламент Польши. – Прим. перев.] мог держать в постоянном напряжении далеко не все общество: даже если творящееся в стране возмущало и оскорбляло людей, у многих все равно не было ни времени, ни сил, ни желания противостоять политической реальности. Потому что все силы, всю энергию и время они тратили на

противостояние бытовой неустроенности. Не всем студентам так повезло в жизни, как ему. У него была крыша над головой, завтрак на столе, второй – в рюкзаке, несколько сотен злотых карманных денег каждый месяц, дополнительно неограниченная сумма на книги, а если нужно, то на путешествия и мобильник. Настоящая идиллия по сравнению с тем, что выпало на долю его однокурсников, которые засыпали на лекциях, потому что в четыре утра закончили не вечеринку, а ночную смену в KFC или «Макдональдсе». Ладно студенты, еще круче жизнь обошлась с миллениалами, с теми, кто уже давно выпустились и делали что могли, чтобы не возвращаться в родные деревни и поселки без будущего. «Счастливчики», которым удалось найти место в корпорациях. Скованные кандалами кредитов, они прирабатывали по ночам водителями Uber, неся ответственность за семьи, которые создали, и за будущее детей, которых родили.

Кроме того, отвращение к политике и уход в мир собственных дел часто пропагандировали молодые люди, которым удалось закрепиться в средствах массовой информации. Не только выскочки, знаменитости, которые в последнее время, чтобы придать смысл, называли себя влиятельными, но и более или менее уважаемые люди искусства, люди, которые что-то умели. Такие как, например, тот самый «чертов Павлик», который «возьми, не спрашивай меня», как его однажды в сердцах назвала Надя. Тот самый, который варит «кашку для дочек (из овощей)» с десятками миллионов просмотров под промосинглом нового альбома. Наде – нет, а вот ему эта песня понравилась. Он даже лайкнул ее. Потому что это прекрасная история о зрелой любви. Больше всего его волнует этот отрывок: «Я не хочу приключений, у меня есть ты. Величайшее приключение, которое послал мне Господь (Аллилуйя)». И, честно говоря, когда потом за этим признанием в любви идет текст: «Я не хочу жить политикой, когда толпа в городе» и так далее, он в задумчивости даже не заметил конформистского месседжа двух следующих строчек. Хотя должен был, потому что часто напевал себе под нос. Помнит, что, когда он, стоя, в общем-то, на позициях поющего Павлика, поделился этой рефлексией с Надей, она ответила, что сочла текст этой «любовной песенки» очень инфантильным. Хотя, может быть, это мнение и несправедливо.

Вот такие были у них разговоры о политике.

Никаких дискуссий, после которых кто-то повержен, а кто-то «на коне». Им не было нужды ни в чем переубеждать друг друга. Они оба смотрели в одном направлении. Если их позиции и отличались, то только нюансами.

Сначала он задавался вопросом, откуда Надя все это знала, если она так тщательно отгородилась от информации о Польше? Действительно, знала. Причем, из лучшего источника. Один из ее профессоров, заметьте, теолог, историк, политолог и философ в одном лице, был лучшим, а в сущности, единственным другом ее покойного отца. А также ее крестным отцом. Дядюшка Игнаций. Она рассказывала, что, когда была ребенком, Игнаций часто бывал в их доме в Гамбурге. Она, конечно, мало что помнит о том времени. Разве что как он брал ее на колени, обнимал и как она заливалась смехом, когда он щекотал ее пятки. Она лучше помнит его частые визиты в ее теперешний дом, в котором они поселились, когда вернулись в Польшу. Она помнит, как отец и дядя сидели за столом в гостиной и допоздна разговаривали. Однажды, разбуженная громким разговором, она спустилась в гостиную и увидела плачущего отца; дядя Игнаций стоял на коленях перед ним, держал его за руки и кричал. С этого периода у нее осталось много фотографий, все выцветшие. Одна – та, на которой дядя Игнаций везет ее на багажнике велосипеда, а отец бежит за ними – висит на стене в гостиной. Это последнее фото ее отца, где он улыбается.

Но больше всего ей запомнился дядя Игнаций на кладбище: он долго стоял на коленях на желтом песке над ямой, на дне которой лежал гроб ее отца. Потом он покинул Польшу. Если не считать поздравительных открыток на день рождения, отправляемых из разных городов, в основном Южной Америки, он исчез из ее жизни. Так думала она, пока он не появился в лекционном зале два года назад. Почти такой же, только похудевший, поседевший и более грустный, чем она его помнила. Но с тем же огоньком любопытства в глазах.

Именно с ним, с дядей Игнацием, Надя обсуждала польские проблемы. «По-деловому, аналитически и самое главное – без эмоций», – сказала она. Именно он помогал ей понять, что происходило на пространстве между Бугом и Одрой. С ним она могла вести спокойные обсуждения. С глубоко верующим католическим профессором, к тому же философом, и признанным политологом, который не замкнулся в коконе своей веры, своих знаний и убеждений.

Беседы с Игнацием позволяли ей не только понять все механизмы, но и толково объяснить обеспокоенным знакомым и друзьям из Германии, что происходит в Польше и не временная ли это истерия. В этой истерии, которая постепенно превращалась в историю, и его, и Надю больше всего беспокоило то, что лишенные культуры карлики отбрасывали огромную тень, и ненавидимый всеми так называемый салон уступил место умственным трущобам. Кроме того, огромная часть этого салона поджимала хвост и убегала в ужасе. Они ни за что

не боролись. Они перешли, по словам Нади, в оппозицию. Сидели в безопасном тепле, писали пламенные манифесты в Фейсбуке и Твиттере, но «лень было подняться с дивана и пойти к зданию суда, раскрыть зонтик, сходить в ближайший цветочный киоск, купить белую розу и встать у заграждений или перед полицейским кордоном». Когда Надю спросили, почему это так ее беспокоит, она ответила, что «на диване историю не создашь, на диване историю можно только проспать».

А еще Надя творила историю собственными руками, «возвращала ее с помощью химии». Так она говорила о профессии реставратора памятников, которой училась в институте. Без нее, без химии, обновленные памятники будут выглядеть «как новые пломбы в старых зубах», а ведь в памятниках не это главное – главное, что они должны выглядеть так, будто в таком виде существовали всегда. Ну, хотя бы с семнадцатого века, например. Только химия может состарить их, и это состаривание – дело гораздо более важное и сложное, чем «установка пломб», которая вполне по силам любому более или менее умелому каменщику.

Впрочем, и в их отношениях тоже начинала сама собой складываться история со своими ритуалами. Одним из них стали утренние походы за булочками и ленивые, неспешные завтраки до полудня. В субботу утром, пытаясь не разбудить Надю, он незаметно покидал постель и шел за свежевыпеченным хлебом и ее любимыми круассанами с корицей в небольшую пекарню, что находилась в пристройке по соседству с ближайшим супермаркетом. За пекарней была культовая, известная далеко за пределами района кондитерская под названием «Мой сладенький пончик». Обычный бетонный гараж с прямоугольным окошком, в котором был закреплен деревянный прилавок, а внутри гаража, вернее бывшего гаража, выпекали пончики. Самые что ни на есть обычные. С джемом. Вскоре оказалось, что не совсем обычные и что люди за ними были готовы приезжать аж с другого конца города. От Нади он узнал, что название «Мой сладенький пончик» сравнительно недавнее. Раньше это был просто пустой гараж с проемом в стене. Во времена водки по карточкам, когда отец Нади был примерно в его возрасте, там был, грубо говоря, притон. В любое время дня и ночи достаточно было постучать в тонкую фанерку, закрывавшую проем, как она поднималась, и в окошке появлялась раскрытая ладонь, готовая принять деньги. Никто ни о чем не спрашивал – товар был один и цена одна. Если денег оказывалось мало, рука появлялась вновь… и вновь… И так до получения нужной минимальной суммы. И только когда сумма сходилась, в окошке снова появлялась рука и протягивала вожделенную бутылку. Отец Нади говорил, что милиционеры и дружинники, которые были частыми клиентами

притона, по понятным причинам получали бутылку «за спасибо». То есть бесплатно, но не задаром – они закрывали глаза на реалии жизни. Впрочем, их можно понять: милиционеры и дружинники – тоже люди.

Когда появился Бальцерович, который должен был уйти, но почему-то все никак не уходил, – как по мановению волшебной палочки капитализма в супермаркете в изобилии появилась водка; не выдержав конкуренции, притон на лету «переобулся», стал кондитерской. Пани Юзефина, мать пана Зютека, владельца гаража, а заодно и притона, знала толк в пекарском деле, а ее коронным номером были пончики. Тогда, в новых экономических условиях, это был единственный возможный путь развития. И, как оказалось, правильный.

Пани Юзефина часто заходила в гости к бабушке, в их дом, что под номером восемь. Это ее натруженная рука появлялась в проеме гаража. Тяжелая была работа, в три смены. Потому что поляки пьют круглые сутки. Надина бабушка стала в конце жизни лучшей подругой пани Юзефины, а та – крестной ее сына, Надиного «папки». Других подруг в Польше ни у одной из них не было. Они обе приехали в одном поезде. В сорок седьмом, обе сибирячки…

Не менее культовым, чем «Мой сладенький пончик», был кубик районного супермаркета, сделанный из ребристой кровельной жести. Якуб видел такие в исторических лентах польской кинохроники, показывающих семидесятые годы, и не мог понять, почему этот уродец все еще не снесен. Надя, напротив, считала, что это «прекрасный пример соцмодернизма» и, как таковой, должен быть поставлен под охрану государства (sic!). Он не понимал, почему надо защищать уродующую окрестности жестянку, но соглашался, что у каждого места есть свой климат, свой дух. Неповторимый. Ничего подобного вы не найдете ни в одном сетевом супермаркете. Только климат этот, по его мнению, создавал не какой-то там соцмодернизм, а люди. И именно ради встречи с ними он частенько туда заглядывал.

Перед входом по обе стороны широкой дорожки из терразита стояли две большие, видавшие виды скамейки, какие еще можно встретить в заброшенных парках или на старых дачных участках. Люди часто привязывали к ним собак, которые более или менее терпеливо ждали своих хозяев. Дорожка заканчивалась прямоугольной площадкой. Справа был самый важный отдел супермаркета: винный. Слева располагался отдел мясной. Наверное, он был там всегда. Не исключено, что застекленные рефрижераторы помнят бои в очередях времен Польской Народной Республики. Если за стеклами громко рычащих

холодильников и ощущалась нехватка чего-то, то отнюдь не товара, а свободного места для растущего колбасно-мясного благосостояния. На тронутом временем полу между винным и мясным отделами часто лежали, спали, иногда облизывались кошки. Тощие и толстые, черные, серые, белые и рыжие. Издалека они выглядели пятнами. Настолько привыкли к посетителям, что совершенно не обращали на них внимания. Лай привязанных собак также не производил на них впечатления. Их вид дополнял атмосферу сюрреализма. Если бы вдруг перед винным отделом появилась пресловутая баба с курицей, это не вызвало бы, наверное, никакого удивления. Он был готов поспорить, что пусть не баба, но хотя бы курица обязательно когда-нибудь появится тут в рамках проекта соцреализма.

Каждую субботу поход за булочками включал посещение супермаркета. Он покупал кефир, потом садился на скамейку перед винным отделом, доставал булочки из бумажного пакета и наблюдал: сначала за кошками, потом за людьми. Он смотрел, прислушивался к разговорам, узнавая многое о жизни, совершенно отличной от его. На скамейке возле стеллажей с алкоголем тусовались – как ему однажды сообщила молодая украинская кассирша, сильно акцентируя первые два слова, – «ваши польские бомжи». Ее внимательная коллега с соседней кассы, наверное, лучше знавшая польский, быстро объяснила, что «бомж» – это русицизм и что по-польски надо говорить «менель».

Однажды в начале марта, когда он, как всегда, сидел рядом с «бомжами», ел свежую с пылу с жару булочку и запивал кефиром, со скамейки поднялся мужчина в зеленой куртке. Он видел его здесь раньше. Тихий, худой, с печальными глазами, держался обычно в стороне от остальных. Часто читал книгу или газету. В ту субботу толстый черный кот, лежавший ближе остальных к холодильнику, внезапно громко замяукал. Это было похоже на жалобный плач младенца. Мужчина в зеленой куртке, пошатываясь, подошел к нему, опустился на колени, достал из кармана целлофановый пакетик и, почесывая кота за ушками, стал кормить. И тогда толстая продавщица в белом халате выбежала из-за прилавка, попыталась вырвать пакет из рук мужчины, голося:

– А ты, Искра, что, совсем рехнулся или уже с утра напился? Ты чего порядок нарушаешь?

На скамейках перед винным отделом воцарилась тишина. Задетый продавщицей мужчина упал и ударился головой о пол. Женщина либо не заметила, либо просто проигнорировала этот пустяк. Она стояла над ним враскоряку, руки в

боки, и кричала:

– Никакой кормежки животных в магазине! Хотите кормить – в зоомагазин идите и кормите, если вам так нужно! А то санэпида нам с телевидением только не хватало. Ты че, не видишь, что Бегемот стал что твой хряк? А орет, не потому что жрать хочет, а потому что март. Ночь с днем перепутал, потому что на один глаз слепой и некастрированный. Ничего, поорет-поорет и перестанет.

Испуганный кот в панике бросился к выходу. Якуб встал со скамейки и подошел к лежавшему мужчине, подал руку и помог подняться.

– Вы в порядке? Как вы себя чувствуете? – спросил он тихо, когда мужчина, наконец, встал и схватил его за руку, стараясь удержать равновесие.

– Лучше всех, молодой человек, – ответил тот с вымученной улыбкой. – Все гудит и звенит, – добавил он через некоторое время. – Вы, конечно, не слышите этого гула и звона, а я слышу – прилично башкой приложился. – Потом он пощупал свой череп. – Бедного котика хотел приласкать, голодное существо накормить, как Господь Бог велел, а эта сучка прогнала его. Бедная женщина, наверное, никто ее не любит, – тихо добавил он, вздыхая и отряхивая куртку.

Когда он, понурив голову, медленно поплелся к выходу, на скамейках у винного отдела все еще стояла гробовая тишина.

Так судьба столкнула Якуба с Искрой, единственным бомжом, которого никто и никогда – как позже выяснилось – «менелем» назвать не решился. Самое большее – «бездомным». В почетном мирке завсегдатаев Бермудского Треугольника – так в районе называлась небольшая площадка между жестяной коробкой супермаркета, одноэтажным зданием забегаловки «Жемчужинка» и секонд-хендом с выцветшей надписью над дверью: «Фирменная одежда из Западной Германии» – почти все называли его Искрой. Были и такие, которые никогда не говорили иначе, чем «наш пан Искра». Чувствовалось в этом уважение. А по паспорту, фактически его так и звали: Леон Бартломей Искра.

Якуб узнал об этом, когда в ту солнечную субботу вышел на площадку за магазином. Мужчина в зеленой куртке сидел возле входа на низком цементном парапете перед обклеенной плакатами витриной. О его икры терся, выгибая и вытягивая спину, черный кот. Он по-прежнему истошно, трагически вопил.

Некоторое время Якуб колебался, но в конце концов присел рядом с мужчиной. Какое-то время оба молча наблюдали за котом. Наконец, мужчина протянул ему открытую пачку Мальборо. Когда Якуб отказался, тот тоже не стал курить, сунул пачку в карман, поднялся с парапета, поклонился и представился – Леон Бартломей Искра, крепко пожав руку. Когда он сел обратно, время от времени поглаживая Бегемота, начался разговор о природе кошек.

Слово «разговор» не вполне передает, что произошло на лавочке перед магазином, а произошло, собственно говоря, то, что Якуб стал свидетелем преображения. Поначалу этот человек показался Якубу сентиментальным, принимающим близко к сердцу судьбу животных, но, по сути, необразованным пьяницей из числа тех, что сидят на скамейке перед винным отделом, но язык Искры, слова, которые тот использовал, чуть ли не философские отступления, которые он ввертывал просто так, как бы случайно, мимоходом, полностью разрушили представления об этом человеке. Якуб помнит, как ему внезапно стало стыдно за то, что, судя о человеке, он поддался жалкому стереотипу. Он рефлексивно, машинально разделял мир на две неравноценные части: «пропитух» со скамеек перед винным отделом и на таких, как он сам, людей образованных, возвышенных, к чему-то стремящихся. Ничего о «бомжах» он не знал, кроме того, что не хотел стать одним из них. А теперь он сидел рядом с Искрой и узнавал, что «фаза БЫСТРОГО сна у кошек длиннее, чем у людей», что «кошки в древнем Египте были связаны с культом верховного бога Ра, а в отсталом европейском средневековье во время Великого Поста каждую среду их сжигали сотнями, потому что считали ведьмами, обернувшимися животными», «коэффициент энцефализации[11 - Мера относительного размера мозга.] у кошек вдвое выше, чем у собак».

Якуб помнит, что когда поинтересовался, чем измеряют этот замечательный коэффициент, Искра неожиданно спросил, как зовут его мать. Как будто это было самое важное в тот момент. А потом, не дожидаясь ответа, встал, взял кота на руки и ни к селу ни к городу сообщил, что у Понтия Пилата была мигрень, и он мечтал только о том, как бы поскорее оказаться дома. Потом пошло перечисление имен: он упомянул какого-то Иешуа и каких-то священников. В первый момент Якуб подумал, что падение и показавшийся поначалу нетяжелым удар головой о пол все-таки не остались без последствий: человек явно нес околесицу. Только через некоторое время понял, что стоящий перед ним Искра – с котом Бегемотом на руках – декламирует «Мастера и Маргариту» Булгакова! Якуб узнал этот роман! Когда-то в старших классах школы эту книгу ему подсунула мать. Наверное, он познакомился с ней слишком рано, потому что книга тогда не произвела на него особого впечатления. Он не

понимал и не разделял восторга матери, которая постоянно перечитывала, и каждый раз делала это торжественно и благоговейно, будто читала Священное Писание. Больше всего ему запомнился странный, местами смешной сюрреализм. Ну хотя бы то, что одним из центральных персонажей был всемогущий сатана, Воланд, но главное, что в его свите был большой, говорящий черный кот, который ездил в трамвае по Москве. И звали того кота Бегемот. Вот, пожалуй, и все интересное, что он помнил.

Посмотрел на него, совершенно не зная, как реагировать. Смехом? Изумлением? Восхищением? То, что происходило здесь и сейчас, было еще более сюрреалистичным, чем булгаковский Воланд и кот, катающийся по Москве на трамвае. Тем более что как раз в тот момент, когда Искра декламировал фрагмент о трамвае, отрезавшем голову Берлиозу, на кольце прямо за супермаркетом с визгом затормозил трамвай!

Искра продолжал свой монолог. Тем временем на парапет подсаживались все новые и новые слушатели. Сначала молодая девушка с зелеными волосами, потом высокий, худой очкарик, который обнял коленями скейтборд и начал украдкой снимать Искру на мобильник, потом украинская кассирша, вышедшая на перекур, после нее пара стариков, несущих две большие сумки с покупками. Вскоре люди уже сидели тесным рядком и с любопытством и удивлением смотрели на сказителя с котом на руках. Сидели и слушали.

В какой-то момент из-за спины Искры показалась Надя, одетая в спортивный костюм, с волосами, стянутыми в конский хвост, и с мобильником в руке. Быстро миновала Искру – и вдруг остановилась как вкопанная. Стояла неподалеку. Спрятала телефон в карман и тоже стала слушать. Якуб взглянул на часы. С момента его выхода из дома прошло почти два часа. Он вскочил и подбежал к Наде.

– Я беспокоилась, – прошептала она, прижимаясь к нему. – Ты оставил меня одну так надолго. Кто это? Что это с ним? Нищий? Впервые вижу, чтобы кто-то собирал милостыню под Булгакова. Клевый тип. Сильная вещь. Интересно, много насобирал?

– Ничего он не насобирал. Да и вообще это никакой не нищий! – воспротивился Якуб. – Упал человек, ударился головой об пол, потом у нас зашел разговор о кошках, а потом он перешел на чтение «Мастера и Маргариты».

– Чего он упал? Случилось что? И причем здесь кошки, Куба? Ведь у тебя нет ни кошки, ни кота. Что ты говоришь? Может, ты с ним принял что? – спросила она, схватив его за руку.

– Господи! Что ты напридумывала?! Ясно же, что нет! – воскликнул он.

Искра замолчал и повернул голову в их сторону. Бегемот вырвался из его объятий и побежал к мусорным ящикам рядом с секонд-хендом. Искра выглядел так, будто только что вышел из летаргического сна: удивленно оглядывал людей, сидевших на парапете. Закурил сигарету и медленным шагом последовал за котом.

И тогда из своего летаргического сна стали выходить все остальные: первой девушка с зелеными волосами. Она сорвалась с места и захлопала в ладоши, как сумасшедшая. К ней присоединился беззубый почтальон в кепке, сильно смахивающей на знаменитую ленинскую, затем подключился высокий мужчина в клетчатом плаще и фиолетовых сапогах, а парень, снимавший все на мобильник, начал стучать своим скейтбордом об асфальт. Затем присоединились и остальные. Через некоторое время вся площадка перед магазином гремела овацией. И чем громче она звучала, тем шире был шаг Искры. Наконец Искра перешел на бег, который становился все быстрее, будто он спасался от преследовавшей его толпы.

В ту субботу они не спешили домой: сели на скамейку в парке за остановкой. Хотя март только начался, солнце приятно припекало. Ветра не было, да и работы для ветра тоже не было – на небе ни облачка. Сидели на скамейке, ели хрустящие булочки, допивали кефир и разговаривали. Сначала об Искре, а потом о жизни вообще. В том числе и о жизни вокруг супермаркета. Надя не видела в ней ничего особенного. Она часто бывала здесь. Это было ее ближайшее жизненное пространство. Эдакая малая родина. Здесь она провела большую часть своего детства, здесь выросла. Когда она вернулась с отцом из Гамбурга в дом бабушки, супермаркет здесь уже стоял. Папка – так она часто называла отца по возвращении в Польшу – покупал ей здесь мороженое. Сядут они на парапете перед входом, и она – в полной безопасности между бабушкой и отцом – смотрит на площадку перед магазином. Ей казалось, что это самое красивое место в мире. Даже несмотря на то, что асфальт в Гамбурге был более гладким, ароматы более изысканными, а витрины более красочными и практически не встречались «странные типы в сильно потрепанной одежде».

Надя знала, что их супермаркет, этот молох с крышей из гофрированной жести, с полом из терразита и грязными окнами, когда-нибудь исчезнет. Отойдет в обильно приправленную ностальгией историю. Но сосредоточенный вокруг него мирок неудачников – бедных, беспомощных, неприспособленных, одиноких, потерянных, топящих в алкоголе свои горести, побитых судьбой до крови, до костей, до самой души – останется. Потому что бедность, несчастье и одиночество вечны. Всегда найдется что-то – супермаркет, не супермаркет, вокруг чего эти несчастные будут кучковаться. Хотя бы только для того, чтобы успокоить себя мыслью, что они не одиноки в своем несчастье, что не представляют из себя каких-то социальных изгоев, что таких, с позволения сказать, отщепенцев много. Надя понимала, что этим людям нужна вера в это, чтобы не сойти с ума. А стало быть, такое место, как супермаркет, для них было необходимо.

Но вера была нужна не только им, она нужна всем. Она тоже чувствовала себя отвергнутой и брошенной, и ей тоже нужно было такое место, чтобы не сойти с ума. Вот и она нашла для себя такой супермаркет. И даже несколько. В разных концах света. Все были очень похожи.

Потом Якуб с Надей думали, что могло произойти, чтобы Леон Искра удалился от привычного им мира и прибился к миру бомжей. Надю вовсе не удивило, что он знал наизусть книгу Булгакова. Она тоже знала фрагменты наизусть. Причем довольно большие. И это был еще один Надин талант, о котором Якуб не знал.

– Есть книги, которые ты просто запоминаешь. Раз и навсегда. Даже не замечаешь, как они остаются у тебя в голове, – сказала она. – У тебя разве не так?

У него было не так. Он читал, может, не так много, как мать, и конечно, меньше, чем Надя, но все же читал, однако никогда ему не приходило в голову без чьего-либо принуждения заучивать тексты наизусть. Один раз, в начальной школе, выучил две страницы. В пятом классе у них была одержимая учительница, настаивавшая на том, чтобы дети в конце года продекламировали родителям отрывки из своих любимых книг. Он выбрал «Парней с площади оружия» Мольнара. Когда-то эту книгу ему читал отец на сон грядущий. Тогда Якуб впервые увидел слезы на глазах отца. Слезы! Он точно это помнит! Ночная лампа освещала лицо отца. Держа сына за руку, он плакал, но не прерывал чтения. Якуб не помнил, чтобы когда-либо любил его больше. Сам тоже плакал, хотя отец этого не видел. Не только над героической судьбой Немечека[12 -

Немечек – герой книги Ф. Мольнара «Парни с площади оружия». – Прим. перев.].

Так что относительно книг и слез, пролитых над ними, он сказал Наде не всю правду.

@2

Лопасти вентилятора едва шевелились, будто им не под силу было разрезать сгущающуюся духоту. Металлическим скрежетом вентилятор высказал недовольство своей судьбой и остановился. У Якуба оставалось единственное спасение – вода. Из щели в деревянных поддонах он извлек бутылку минералки, встал, подошел к письменному столу и некоторое время листал лежавшую рядом с клавиатурой книгу. На полях виднелись сделанные карандашом пометки. Одни были по-польски, другие по-немецки, а еще была строчка каких-то непонятных символов. Но, видимо, все эти пометки были важны, потому что каждая из них заканчивалась восклицательным знаком или многоточием. Он наклонился и поднял лежащую на полу фотографию в рамке. Стекло, за которым находилось черно-белые фото, раскололось ровно по диагонали. На фото старушка в пестром платке наливала половником суп в тарелку, стоявшую перед мужчиной в черной водолазке. В одной руке мужчина держал газету, а другой гладил по голове светловолосую девочку с ангельскими глазками. Все трое улыбались. Обычная сценка, а сколько радости и счастья.

Он взял фотографию и спустился по винтовой лестнице в каморку. Вспомнил, что Надя хранила там стекло, на котором рисовала. В металлическом ящике для инструментов нашел стеклорез и из найденного в каморке большого куска разбитого стекла вырезал прямоугольник, как раз под рамку. Возвращаясь на чердак, остановился на кухне у холодильника. Высокий стакан наполнил наполовину льдом, выжал целый лимон и залил водой из чайника. Вернулся наверх, поставил рамку с фотографией на стол и вышел на балкон. А там, укрытая в тенистом уголке от солнца, опершись о стену, сидела Надя в расстегнутой рубашке, с лэптопом на коленях, в наушниках. Пол вокруг был усыпан листками с заметками. Якуб поставил стакан на перевернутый вверх дном дубовый ящик для цветов. Надя оторвалась от экрана, подняла голову, сняла наушники и долго смотрела ему в глаза. Задумчиво, пронзительно, с какой-то необычной, странной серьезностью.

– Куба, я должна тебе сказать что-то очень важное.

Он нервно взъерошил пятерней волосы и подсел к ней. Она обхватила его голову, притянула к себе, потом так же внезапно оторвалась от него и прошептала:

– Я люблю тебя, очень, ты знаешь?

Потом взяла принесенный им бокал, жадно выпила до дна и, не произнеся больше ни слова, вернулась к своей работе. Он все еще стоял перед ней на коленях, ошеломленный, смотрел на ее грудь. Должно быть, она это заметила. Она прервала работу, улыбнулась, застегнула рубашку и, покачав головой, сказала:

– Не сейчас.

Он сел рядом и молча смотрел на бумаги, лежащие на полу. В основном рисунки и фотографии, на которых были запечатлены фрагменты стен, полов или потолков какого-то здания. Под ними были сделанные от руки подписи по-немецки, иногда по-английски.

– Как только я закончу с документами для Карины, перекусим. Я приготовлю томатный суп с макаронами. Можешь уже начинать радоваться, – сказала она. – Это не займет много времени. Я обещала ей сдать эту работу сегодня. Она очень ждет. Хотя на самом деле, Алекс ждет еще больше.

«Карина, Карина, опять она, – подумал Якуб, наблюдая за маленьким забавным терьером, который пробрался под сеткой и бегал, как сумасшедший по саду, гоняясь за голубями. – Не слишком ли много ее в нашей жизни в последнее время?»

Он познакомился с ней несколько недель назад при довольно экзотических обстоятельствах… Поздняя ночь, они с Надей сидят на кухне, и вдруг раздается громкий стук. Перед дверью, спрятанная за огромным букетом роз, стояла улыбающаяся стройная брюнетка. Ровесница его матери и чем-то даже на нее похожая. Он помнит, что она бросила на него испытующий взгляд и, громко

смеясь, сказала:

– Я-то думала, что буду первая, а здесь, нате вам, кто-то меня уже опередил. Надеюсь, я не вытащила вас из постели? – Она сунула ему в руки большой букет и обняла Надю. – Я бы не простила себе такого, – добавила она.

Она не собиралась заходить в дом, хотела лишь поздравить Надю и сразу уйти. Надя чуть не силой затащила ее в прихожую. Якуб ничего не понимал. Он не знал ни эту женщину, ни по какому случаю букет, и понятия не имел, о чем идет речь.

Они вошли в кухню. Он положил букет на стол. Женщина протянула ему руку:

– Карина, – представилась она и, не дожидаясь ответа, добавила с улыбкой, – А вы, наверное, Якуб, не так ли? Я уверена, что видела вас где-то раньше.

Он посмотрел на нее внимательно, напряг память. Никаких ассоциаций.

– Вам повезло, – сказала она Якубу и повернулась к Наде. – Налей-ка мне водки, да похолоднее, а потом я убегу. Алекс ждет в машине. Решил не заходить, потому что до Цюриха путь неблизкий. Боялся, что из гостеприимного польского дома не удастся легко вырваться, во-первых, быстро, не обидев хозяев, а во-вторых, на трезвую голову. Поэтому остался в машине. А вот я не побоялась и имею право выйти пьяной. Я говорила ему, что до Цюриха из Польши давно уже летают самолеты, причем несколько раз в день, но он настоял на автомобиле. Наверняка, есть какая-то причина, а если она у него есть, то он делается сварливым. В такой ситуации лучше всего помогает водка. От нее я становлюсь трепетной, как лань, и всегда поддакиваю ему. А что еще мужчинам надо? Так что плесни-ка мне от души.

Надя достала из морозилки бутылку русской водки, подошла к Карине, крепко обняла ее и сказала:

– Не забыла. Спасибо тебе.

Разлила водку по двум стопкам. Одну подала Карине, с другой подошла к нему.

– Много-много тебе счастливых лет, Наденька! – сказала Карина, салютуя поднятой стопкой.

Выпила до дна, наполнила рот горстью черешни из чаши на столе, обняла их обоих и направилась к двери. Когда они выбежали за ней на крыльцо, она уже садилась в «мерседес». Надя вышла на улицу, встала посреди дороги и махала, пока машина не исчезла за поворотом. Якуб в это время в спешке сорвал несколько ромашек, и когда Надя вернулась домой, поздравил ее с днем рождения. Как он мог забыть об этом?! Именно тогда, сжимая букетик и целуя Надю, он впервые почувствовал благодарность к ворвавшейся, словно метеор, в этот дом и в его жизнь Карине.

На кухне Надя снова налила водку и начала понемногу рассказывать, кто такая Карина. Окончила архитектурный факультет в знаменитой Эколь Политекник в Палезо под Парижем, этой альма-матер двух французских нобелевских лауреатов, нескольких президентов и десятка руководителей крупнейших французских компаний, а потом – аспирантуру Женевского университета, специализируясь по реставрации памятников архитектуры. В университете, куда она ходила на занятия каждую пятницу, субботу и воскресенье, она и встретила Александра фон Липпена, богатого банкира из Цюриха, на двадцать лет старше ее. О том, что носивший аристократическую фамилию Александр руководит одним из крупнейших банков Швейцарии, она тогда понятия не имела. Для нее он был однокурсником, хоть и старше других, но все равно студентом. К тому же, тихим, отзывчивым и невероятно интеллигентным. Алекс, как она его называла, начал подсаживаться к ней в столовой, он был очарователен, говорил по-французски без немецкого акцента, всегда после обеда относил ее поднос на стойку, утром ждал с кофе, в течение некоторого времени приветствовал ее польским „dzien dobry”, а вечером провожал до метро. На вопрос, что он делает в колледже, отвечал, что его интересуют старинные строения и что он любит учиться. Но, думается, одной лишь любви к старине и ученью было бы недостаточно для того, чтобы выучить фразу на незнакомом языке и сказать: «Плагодар Богу я полюбит памьятник и поснакомица с топой». И только когда они уже стали парой, Карина обнаружила, что Александр фон Липпен настолько богат, что может купить не только столовую, но и весь университет. После двух лет жизни в Женеве, где она продержалась лишь благодаря работе – по утрам почтальоном, а по вечерам официанткой – она вернулась в Познань. Алекс регулярно навещал ее. Случалось, что он прилетал утром в десять, ловил такси, ехал к ней, говорил, как сильно по ней скучал, а потом спешил на обратный самолет в два и обязательно забывал что-нибудь из своих вещей.

Впрочем, чаще всего, он оставался дольше. Однажды Карина забрала его на выходные в Гданьск, откуда они должны были на несколько дней поехать в Калининград, где давным-давно, когда этот город еще был немецким Кенигсбергом, родился, жил и умер прадед Алекса, профессор философии, преподававший в том же университете, где ректором в свое время был Иммануил Кант. Конечно, Алекс хотел посмотреть Университет, но еще больше хотел он сходить на кладбище и найти могилу еврейской прабабушки, которую его швейцарская семья непременно хотела вымарать из своей аристократической истории.

По дороге в Гданьск они в очередной раз остановились на кофе. Если автомобиль нуждается в бензине, то Алексу в поездке нужен был кофе в среднем каждые сто километров, особенно когда он не за рулем. Пили тогда кофе из бумажных стаканчиков, облокотившись о высокий столик в переполненном «Макдоналдсе», Карина рассказывала о Гданьске, Сопоте, Гдыне и тогда Алекс по-польски спросил ее, выйдет ли она за него замуж. Ни с того ни с сего, вот так, прервав ее рассказ о Сопоте. В первый момент она думала, что ослышалась, что, может быть, неправильно поняла его все еще далекий от совершенства польский, но, когда он повторил свой вопрос сначала по-французски, потом по-немецки, а в конце начал целовать ее руки, она поняла, что «девочки, это серьезно». В принципе ей было неважно, что объяснение в любви произошло за бумажным стаканчиком кофе в «Макдоналдсе». Она часто подчеркивала, что это идеально вписывалось в его жизненную философию: не тянуть ни с чем, сразу брать быка за рога, когда чувствуешь, что вот он, этот бык. «Разве имеет значение, где просят твоей руки – в «Макдоналдсе», или в отеле «Ритц»? И там, и там у тебя та же самая рука», – сказала она Наде. Кроме того, аристократ Александр фон Липпен считает, что кофе в «МакКафе» на автомагистрали А1 в Польше гораздо лучше, чем тот, который он пил во всех «Ритцах» по всему миру. Что вовсе не означает, что Алекс страдает алекситимией[13 - Психологическое состояние, при котором человек теряет способность к определению и проявлению эмоций.] или что он бесчувственный мужлан. Когда в тот день в «Макдоналдсе» на А1, вытирая слезы умиления, она обещала ему, что станет его женой, она еще не была до конца уверена в этом. Но все сомнения отступили, когда они добрались до Гранд-отеля в Сопоте и она увидела в гостиничном номере свои любимые фрезии, плавающие в фарфоровых блюдах, а потом на пляже перед отелем, когда они сидели, обнявшись, Алекс вдруг начал ковырять песок у ее ног и «случайно» нашел платиновое колечко с черной жемчужиной, которое сразу же надел ей на палец.

Она вышла за него, и они вместе основали реставрационную фирму. По налоговым причинам ее штаб-квартира с самого начала была в Монако. Алекс стал главой наблюдательного совета, потому что именно он выложил свои деньги, а Карина – исполнительным директором, потому что именно она приумножала этот стартовый капитал. Алекс, если не считать учебу в колледже, о памятниках знал не больше обычного туриста, но хорошего, опытного туриста, потому что много путешествовал, Карину по той же самой причине знали кураторы памятников, которые посещал Алекс.

Семейное предприятие фон Липпенов добилось успехов, выиграло множество конкурсов и тендеров. Фирма реставрировала объекты по всей Европе, от Норвегии до Кипра, а также в США, Вьетнаме, Сингапуре, а в последнее время и в Китае. Если кто-то в этом бизнесе не знал Карину, это значило только одно – он новичок. Раньше Алекс через свои контакты выполнял ее поручения, теперь все хотели иметь дело с Кариной напрямую, знать адрес ее электронной почты.

Она жила в Познани, он – все еще в Цюрихе, что, по словам Карины, было рецептом удачного брака. Общую квартиру они купили в жилом районе Франкфурта-на-Майне, до которого каждому из них было одинаково далеко или одинаково близко – оценка зависела от настроения. С Алексом Карина говорила по-французски, чтобы он не слишком зазнавался, что его немецкий лучше, ну и чтобы не подчеркивать свой безукоризненный на его фоне английский. Детей у них не было, но они компенсировали их отсутствие тем, что приютили в Руанде около сотни сирот. Там они построили и годами содержали приют. Четыре года назад Надя столкнулась с Кариной именно там, в приюте, в пригороде Кигали. Так они познакомились и подружились.

Карина всегда считала, что в смысле реставрации памятников полякам нет равных. В особенности, когда дело касается реставрации бумаги или камня. И она утверждала это не как патриотка, а как ответственный профессионал, к тому же глава корпорации, умеющий считать деньги. В течение нескольких лет она преподавала в трех университетах в Польше. В университете у Нади она читала курс «Виды и масштабы вмешательства в памятники архитектуры». Звучит, может, не слишком привлекательно, но на самом деле тема интереснейшая. К тому же каждая лекция Карины была увлекательным рассказом о выбранном объекте, который она сама довела до идеального состояния. Лекции выглядели как мультимедийное шоу, в котором история, теология, этика, искусство, архитектура, химия, политология, криминалистика смешивались в идеальных пропорциях. По мнению Нади, если бы Карина

составила из этих лекций сериал, National Geographic купил бы его не задумываясь. А может быть, даже и «Нетфликс».

Карина была блестящим лектором, студенты восхищались ей, в опросах она безоговорочно лидировала на протяжении нескольких лет. Может быть, поэтому ее недолюбливали в преподавательской среде. Она не входила ни в один из кланов. Даже если ее не было в университете, она всегда была доступна по скайпу для студентов и коллег-преподавателей, а все свои премии и награды она в полном объеме переводила на счета студенческого научного общества. По словам Нади, такая практика закладывала прочные основы для осуществления пока непонятного, но в сущности очень благородного долгосрочного плана. Карина использовала работу в вузах Польши для того, что сейчас называют хедхантингом, то есть постоянной охотой за талантами, умами. Сначала она привлекала студентов своей харизмой, потом отбирала лучших и проверяла на небольших проектах в Польше, а если проверка проходила успешно, принимала на работу в свою фирму. Ведь в жизни как: никогда ничего заранее знать нельзя, и не исключено, что когда-нибудь они высадятся с ней на объекте, являющемся вершиной мечтаний и ее, и всех, кто любит камень – в храме Ангкор-Ват у Сиемреапа в Камбодже.

Такому же испытанию она подвергла и Надю. Их дружба и общие впечатления от Руанды не имели при этом никакого значения: для Карины профессиональные вопросы и личные симпатии или антипатии – это были два отдельных мира. Она поручила Наде одну «деликатненькую работенку» в монастыре на Мазурах, рядом с озером, которого даже не было на карте, в густом бору, на полном безлюдье, в месте, где не берет GPS. Вдобавок монастырь был не совсем обычный. У настоятельницы, кроме ее истинного призвания молиться Богу, была докторская степень по физике. Да и монахини не отставали: свои усердные моления о «благоволении в человецех» они дополнили организацией для пожилых жителей окрестных деревень «курсов цифрового образования, дабы противодействовать их цифровому отчуждению». В том районе вопрос стоял особенно остро, потому что, когда молодежь уехала из тех мест искать лучшей жизни в Германии и Англии, деревни практически обезлюдели. Интернет позволял их родителям и дедушкам с бабушками не только поддерживать с ними контакт, но и, прежде всего, облегчить тоску разлуки, познакомиться с женихами и невестами своих детей, увидеть внучат. Именно с этой целью монахини внедряли цифровое образование среди крестьян.

Для Карины заказ в монастыре был лишь мелким проектом, одним из многих, а для Нади – первым серьезным экзаменом. Во всяком случае именно так она воспринимала его. Как уникальный шанс, который судьба дает раз в жизни.

– Но так было только в начале, – шептала она, прижимаясь к Якубу. – Потом появился ты, на уходящем в озеро помосте, и выскабливание стен превратилось в коротание времени до вечера, в ожидание следующего свидания. Я влюбилась в тебя. Может, поэтому так хорошо у меня пошло.

Без Карины Надя не попала бы на тот помост. Если бы не Карина, они, скорее всего, никогда бы не встретились. Но был в этом и Божий промысел, распорядившийся так, что образованная, упрямая настоятельница выбила из курии деньги на новые компьютеры для монахинь и интернет, работающий за толстыми стенами. Вот так и пересеклись их пути.

– Почему Алекс ждет эту работу больше, чем Карина? – спросил он, вырванный из задумчивости жалобным поскуливанием собаки, но не услышал ответа, потому что Надя отложила ноутбук и скрылась в доме. Некоторое время спустя он увидел ее внизу – она звала испуганно бегавшую вдоль забора собаку. Та не могла найти дыру, через которую пролезла в сад. В конце концов, собачонка легла на спину, а Надя взяла ее на руки и пошла с ней к забору. Через несколько минут она вернулась, поставила перед Якубом корзинку, полную прекрасных, сочных вишен, а рядом – фарфоровую миску.

– Смотри, какая я у тебя добытчица! – воскликнула она. – Эта собачонка постоянно убегает от хозяев, жильцов с четвертого этажа, и иногда пролезает к нам в сад, чтобы погоняться за голубями. Глупышка не помнит, где этот лаз. Каждый раз, когда я отношу ее им, получаю взамен кучу ягод-фруктов. Наверное, есть у людей дача.

Он озорно взглянул на нее, загребая горсть вишен из корзинки:

– Ты хоть заметила, в чем ты ходила к ним? В моей рубашке! И что, кроме рубашки, на тебе ничего нет? Не говоря уже о таких мелочах, что ты босиком.

Надя посмотрела на свое отражение в стекле и облегченно вздохнула:

– Действительно. Какое счастье, что у тебя такие длинные рубашки. Боже, как я замоталась! Хотя это и твоя вина! Ведь это ты меня раздел, – с улыбкой добавила она.

Она расстегнула пуговицы и скинула рубашку. Голая, сидела на полу и объедалась вишней. Через некоторое время по ее губам, подбородку и шее потекли алые струйки сока. Они стекали к груди, останавливаясь на выпуклости сосков. Якуб наклонился и начал их облизывать. Она прижала к себе его голову. Он ощутил капли сока на виске и щеке, а затем тепло ее языка.

– Я не знала, что вишня бывает такой сочной. А ты? – прошептала она ему на ухо, после чего решительным движением отстранив его голову, спросила: – Так, на чем мы остановились?

– А мы разве остановились? – Вздохнул он разочарованно, положив голову ей на бедра.

– Я сняла рубашку, потому что не хотела ее запачкать. Сам знаешь, как трудно отстирать вишневый сок, – ответила она, посмеиваясь.

– На Алексе остановились, – сказал он, щурясь от солнца.

– Ну да, на Алексе! Это он ждет больше. Карина пишет, что в последнее время он даже занервничал, – ответила она, нежно расчесывая пальцами его волосы.

– Алекс? Ты ведь говорила, что он как пациент под наркозом, которого ничего не волнует.

– Ничего, кроме денег. Неудивительно. Это самый крупный заказ в истории фирмы. Гигантский. По сравнению с ним все, что они делали до сих пор, было похоже на строительство домиков из лего. Кроме того, проект настолько престижный, что никто в здравом уме не будет просить аванс. А Алекса интересуют в основном деньги. Это он должен контролировать логистику, приобретать материалы, общаться с чиновниками, платить людям зарплату, заботиться о жилье и, наконец, получить со всего этого какой-то профит. Карину же это совершенно не интересует. Она приходит, смотрит, щупает камень и приступает к работе, как будто это ее дом. Ну а кроме всего прочего, это все-таки заказ из Мюнхена.

– А разве это имеет значение?

– Для Алекса огромное. У швейцарцев какой-то странный комплекс по отношению к немцам, особенно если это немцы из Баварии. Кроме того, платит за это Берлин. Если все пойдет хорошо, фирма попадает в список правительственных подрядчиков. Сам знаешь, сколько в Германии объектов для такой работы. И какие деньги там крутятся.

– А у тебя-то со всем этим что общего? – спросил он, не понимая волнения Нади.

– Очень даже много, – спокойно ответила она. – Карина хочет большую часть реставрационных материалов заказать в Польше. Она утверждает, что у нас они лучшие и что с другими она работать не будет. Отправляет мне описания отдельных объектов, чтобы я могла составить калькуляцию, на основе которой она даст оценку стоимости заказов для всего проекта. Это будет семизначная сумма, – добавила она многозначительно. – Карина рационально скупа. Это типичная черта тех богачей, которые сами в буквальном смысле заработали свое богатство. В Руанде она построила приют за несколько сотен тысяч евро, но долго высчитывала, что лучше – ставить собственный дизель или пользоваться электричеством из государственных сетей. Решила брать из госсети, потому что оказалось, что за взятку выйдет дешевле. На примерно двадцать евро в месяц в течение десяти лет. А это уже что-то. На двадцать евро в Руанде можно купить сорок литров молока для малышей. Карина знает, – продолжала она, – что у меня гораздо больше причин для жадности, чем у нее. Вот почему она доверяет мне. Кроме того, я знаю немецкий, так что если что-то не буду знать, то спрошу непосредственно на месте куратора объекта, без того, чтобы кому-нибудь морочить голову. Она представила меня в Мюнхене как «единственного человека, принимающего решения, но не влияющего на финансы». Это означает, что у меня есть все права, но денег на взятки нет. Ладно, хватит трепаться, а то еще умрешь от скуки. Подожди, совсем немного осталось, всего несколько расчетов, – сказала она, указывая на бумаги на полу. – Вот только закончу и сразу займусь приготовлением томатного супа для своего парня.

Потрепала его волосы, нежно сняла его голову со своих коленей, поцеловала и ушла в темный угол.

Под палящим солнцем он выдержал лишь несколько минут. Вернулся в комнату, достал ноутбук из рюкзака и расположился за столом. Неделю назад он сдал

последний экзамен, выезд в Грузию они с Надей запланировали на начало августа. Оставалось две недели, чтобы закончить задание, которое подсунул ему отец. Крупная сеть кондитерских цехов хотела заменить платежные терминалы, чтобы можно было совершать бесконтактные транзакции не только с помощью карты, но и со смартфона. Надо было перепрограммировать систему учета. Он приступил к этой работе еще до сессии, но на время экзаменов отложил. Неинтересное, скучное, хлопотное задание. Единственное, что его мотивировало, так это мысль о том, как кондитерам придется раскошелиться.

Ему нужны были деньги на поездку в Грузию. Он хотел денег. Может, это и старомодно, но он считал, что мужчина должен иметь деньги – не говорить, что они у него есть, а просто иметь. Что это элемент мужественности. Может быть, это и старомодно, но, когда он мог купить что-то Наде, то искренне радовался.

Сигнал мессенджера. Надя прислала ему ссылку на аэрофотосъемку. Монументальное неоготическое четырехуровневое здание с зелеными крышами было окружено с трех сторон парком, а украшенный бюстами и статуями терракотовый фасад выходил на реку, протекавшую внизу. Он прочитал комментарий: «Красивый объект, но он крадет у меня время, которое я могла бы провести с тобой. Ведь самый главный мой объект – это ты. Ты хоть знаешь это?». Его охватило волнение.

Надя даже не понимала, как часто вызывает в нем волнение. Не знала, наверное, что таким образом еще сильнее привязывает его к себе. Ляпнула что-то невпопад, как сейчас, что он самый главный, приготовила ему томатный суп с самой тонкой лапшой, как он любит, отправила эсэмэску с напоминанием, чтобы он не забыл куртку, потому что обещали дождь. Но это еще не все. Она пополняла его счет в телефоне, потому что знала, что он забывает об этом, продлевала электронный проездной или напоминала письмом, что в четверг у его отца день рождения. И каждое такое сообщение оказывалось поводом для сильного волнения.

Он взглянул на черно-белую фотографию в рамке, остановил взгляд на улыбающемся лице девочки. Задумался.

Когда же она была так счастлива? Сколько ей тогда было лет? Двенадцать? Не больше. Я никогда ее об этом не спрашивал. К бабушке, в дом номер восемь, они вернулись с отцом из Гамбурга, когда ей было одиннадцать. Когда отец умер, она заканчивала начальную школу, а когда сей мир покинула овдовевшая

бабушка Сесилия, Надя сдавала экзамены. В восемнадцать она осталась одна. Совсем одна. У ее отца не было ни братьев, ни сестер. Семья бабушки Сесилии так и не вернулась из Сибири. Надя знала несколько адресов. Писала туда и по-польски, и по-русски, но ответа так и не получила.

Так что дом, который Сесилия перед смертью переписала на нее, ей ни с кем делить не пришлось. А вот за пенсию покойного отца пришлось повоевать. Почти два года, с немецким Управлением социального страхования. Так, после окончания средней школы она осталась с домом, полным воспоминаний, без близких и без денег.

Она хотела убежать. Как можно дальше. Сдала дом по себестоимости в обмен на уход за садом и вернулась в Гамбург, теперь уже как совершеннолетняя гражданка Польши. С одним чемоданом она сошла на той же станции, с которой они с отцом уезжали.

Как бездомная гражданка Германии обратилась в соответствующее ведомство. Ей повезло: принимавшая ее документы сотрудница оказалась полячкой. Сначала она не могла понять, почему Надя стесняется просить о помощи, а потом, когда выслушала ее историю, расплакалась и переквалифицировала дело в dringender Notfall, то есть особый случай, такой, как потеря дома в результате пожара, наводнения или теракта. Первую неделю она провела в четырехзвездочном отеле, после чего ей предоставили квартиру на последнем этаже обшарпанной высотки в районе Вильгельмсбурга, в который ночью лучше не заходить. Получив первое пособие, она сразу направилась в «Икею», где купила матрас, постельное белье, одеяло и бокалы для вина. Через несколько дней ее внесли в реестр безработных.

Так, в квартирке без мебели прожила она около месяца. Работу нашла сама. У немцев есть такая черта – они как нация постоянно каются в исторических грехах, а поскольку у них есть еще и деньги, они могут буквально искупить свои грехи. Надя разыскала правительственное агентство по оказанию помощи пострадавшим от катастроф, а катастрофой для немца является, между прочим, отсутствие школы в эквадорском селе, и воспитательниц детского сада на Гаити, и переводчиц в больнице в Бирме. Она сказала, что знает английский и что в Бирму может поехать хоть завтра и в течение недели сделает все прививки. Но самое главное: она ни словом при этом не обмолвилась о денежном вознаграждении. И уже на следующий день молодой волонтер привез ей на дом готовый к подписанию договор.

Так четыре года она бегала от своего отчаяния, депрессии, печали. И везде при этом сталкивалась с неописуемым горем и каждый раз все более критично относилась к своим несчастьям. Сначала была Бирма, потом Сомали, наконец, Руанда. Немецкое агентство предложило ей должность главного специалиста в Берлине. Она отказалась. В Польшу она возвращалась из Никарагуа. С одним чемоданом. Причем, не тем, с которым она уезжала, а поменьше.

Сначала она прогоняла назойливых застройщиков, которые за бабушкин домик посулили отвалить кучу денег. А те не скрывали, что люди они практичные, деловые, и домик снесут. Когда же она решительно отказалась, они стали засыпать ее письменными угрозами, а потом и регулярно наведываться. Все так бы и продолжалось неизвестно сколько времени, если бы не случай… Однажды она помогла какой-то старушке, которая стояла перед ней в очереди в кассу, дотащить до дома сумку с продуктами. Дверь им открыла дочь старухи. Увидев незнакомую женщину рядом со своей матерью, разволновалась, пригласила зайти. Надя вошла, потому что не могла отказать женщине, излучавшей столько тепла. За чаем рассказала, что живет в доме номер восемь. Оказалось, старушка прекрасно помнит бабушку Сесилию, а дочь у нее – юрист. Достала каким-то немыслимым образом (ну на то она и юрист) копию записи в земельной книге. Что было непросто, ведь как репатриантка бабушка Сесилия получила разрушенный коттедж на окраине города в конце 1947 года от коммунистов. А они распределяли дома, исходя из своих партийных пристрастий. Все, что было нужно тогда, так это письмо, подписанное какой-то партийной шишкой, да красная печать Центрального Комитета. Бабушка Сесилия прожила долгую жизнь и знала, что для полного спокойствия одного этого мало. После очередной партийной чистки письмо может утратить силу, жесткую шею секретаря можно сломать, а штампы поменять. Поэтому она ходила в офис до тех пор, пока подпись секретаря не дополнила запись в Земельном кадастре. Больше всего помогло Сесилии то, что она свободно говорила по-русски, без акцента. Некий чиновник, вроде как довоенный интеллигент, но который почему-то очень плохо знал русский, так испугался, что тут же занялся делом. Поскольку Сесилия по привычке представилась как Сесилия Леоновна, он воспринял ее как представительницу братского советского народа, а тогда это что-то значило. Вот так Надина бабушка стала полноправной владелицей дома под номером восемь. Об этой записи она потом забыла, потому что в той жизни она ей была без надобности.

Дочка старухи из универсама оказалась не только знающей, но и весьма доброжелательной особой и посвятила часть своего времени работе в городских

архивах. И нашла-таки этот акт. На всякий случай заверила документ у нотариуса, а затем написала короткое, всего в одну строчку, письмо в юридический офис застройщика и приложила PDF с копией записи. С тех пор больше никто и никогда не появлялся с претензиями на дом номер восемь. Профессионалы-застройщики моментально поняли, что имеют дело тоже с профессионалами, и даже не потребовали оригинала документа.

За деньги с немецкой пенсии отца Надя отремонтировала дом, утеплила стены, перестелила крышу, огородила сад, обсадив по периметру туями, сменила угольную печь на масляную, заменила почти всю канализацию и оборудовала ванную комнату на чердаке. Одновременно поступила в колледж. Для ее отца архитектура была всем, это был для него целый мир. В детстве, когда она сидела у него на коленях, видела на мониторе постоянно включенного компьютера сооружения, которые он разворачивал для нее, увеличивал, уменьшал или чудесным образом открывал, чтобы она, как Алиса из Страны чудес, могла заглянуть внутрь. Потом во время прогулок они смотрели уже на реальные здания, задирали головы, трогали стены, заходили в помещение, и это было как на картинках в отцовском компьютере.

Она хоть и гордилась своим «папкой», но учиться архитектуре не хотела. Ей казалась, что в архитектуре слишком много математики и слишком долго приходится ждать результатов. Но на кирпичи, стены, камни, полы, потолки и все остальное с самого раннего детства она смотрела глазами отца – с любопытством, вниманием и страстью. Когда, скитаясь по миру, в течение четырех лет старалась сжиться со своими печалями, она знала, что когда-нибудь вернется к этой своей страсти. В свободное время она изучала реставрацию по немецким учебникам, а когда добиралась до интернета, смотрела информацию по работам, наконец, самостоятельно знакомилась с историей искусства, материаловедением, геологией и химией.

В Никарагуа ей пришлось впервые столкнуться с консервацией камня на практике. В пригороде Леона находилось что-то вроде колонии для малолетних, построенной и оснащенной благотворительным фондом из Нижней Саксонии. Надя работала там восемь месяцев. Однажды в воскресенье во время прогулки она спряталась от жары в прохладном интерьере барочного собора, который часто посещала. Она любила тишину этого места, оно напоминало ей церковь в Гамбурге, в которую водил ее отец. В одном из боковых нефов были возведены высокие строительные леса. На досках под самым сводом сидел бородатый парень с волосами до плеч. Он заметил ее и что-то крикнул. Потом опять. Когда

она не ответила, ловко соскользнул по трубам, присел рядом на церковной скамье и начал ее убалтывать. Он входил в группу из Барселоны, которые, благодаря финансовой поддержке ЮНЕСКО, с прошлой недели занимались реставрацией собора. Ей он открыл душу и сказал, что «чувствует себя очень одиноко». Это он повторил несколько раз. Когда взволнованная Надя начала вполне профессионально расспрашивать о деталях проекта, парень, скорее всего, флиртуя, спросил, не хочет ли она подняться наверх и «прикоснуться к истории». Она конечно захотела. Причем немедленно. Лохматый бородач в первый момент не поверил, а когда увидел, что она направилась к лесам, попытался дать задний ход. Дескать, слишком высоко, правила, да и шлем у него только один. Наконец, когда она пообещала, что сходит с ним на кофе, а может даже на ужин, он разрешил ей забраться на самый верх.

Вот так, благодаря какому-то пикаперу из Барселоны в базилике Успения Пресвятой Богородицы, что в никарагуанском Леоне, она впервые вдохнула пыль «из-под собственных шпунта и троянки[14 - Шпунт и троянка – инструменты для обработки камня.]», и это было незабываемо, как что-то первое и настоящее в жизни.

Надя рассказывала ему обо всем этом как бы мимоходом. В своей биографии она не видела ничего особенного. Чаще всего поводом для рассказа становилась какая-то банальная мелочь: фотография, лежавшая закладкой в книге, листок календаря, услышанное по радио название местности, в которой ей случалось бывать, или отрывок песни. Этого хватало для того, чтобы начать рассказывать еще одну историю, из которой выяснялось, что мелочь эта не так уж и банальна. Ее истории вырастали одна из другой, как сюжеты в романе-шкатулке: открываешь одну историю-шкатулку, а в ней другая история-шкатулка, и так дальше. Как правило, это были грустные истории, связанные с каким-то несчастьем, иногда со страданием, Надя, однако, так их компоновала, чтобы в конце мог блеснуть лучик надежды.

Она редко рассказывала о себе, а если уж и рассказывала, то в основном о недостатках, ошибках, страхах, пороках и сомнениях. Умела она и посмеяться над собой, над неправильными решениями, дать суровую оценку некоторым поступкам. А еще она никогда не сравнивала свою жизнь с жизнью других, потому что «чужое дело – темный лес, а жизнь тем более».

Несколько недель назад Наде исполнилось двадцать четыре года. И хоть они принадлежали к одному поколению, жили в одном городе, учились в одном

университете, разделяли те же ценности и происходили из интеллигентных семей, их биографии были настолько разными, будто она существовала в совсем другом мире и прожила намного, намного дольше. Иногда он задавался вопросом, сколько еще шкатулок предстоит открыть.

Он достал фотографию и долго смотрел на улыбающуюся блондинку. И когда они были вместе, Надя тоже часто смеялась и часто повторяла, что счастлива. Но никогда не смеялась так беспечно, как на том фото.

– Ты заметил, какая я конопатая? – прошептала она, склонившись над ним. – Каждый год у меня веснушки с начала лета до ноября держатся. Когда-то я очень стыдилась этого. А фото сделал дядя Игнаций, мне на нем двенадцать. Я помню, что в тот день, промокшие и замерзшие, мы вернулись из леса с корзинками, полными грибов. Сначала бабушка поставила самовар, а потом приготовила на обед грибной суп с лапшой.

– Ты здесь такая счастливая. Да и вы все, – сказал Якуб, поставив фотографию на стол.

– Ты прав, – ответила она тихо. – Действительно, все. Папка очень старался, чтобы у меня было счастливое детство, а бабушка следила за тем, чтобы он старался. А ты ходил с родителями по грибы? – спросила она, устраиваясь перед ним на столе.

– По грибы? Разве я тебе про это не рассказывал? – Он тихо вздохнул. – Ходил, конечно, ходил. Но только с папой. Мама не хотела. Она боялась, что не сможет отличить поганку от боровика и отравит нас всех. Но это была только отговорка. Моя мама боится леса: клещей, пауков, ужей, даже муравьев. Отец же лес любит. Сколько себя помню, он всегда брал меня в лес. А я нипочем не желал уступать ему в сборе грибов. Я хотел быть таким, как он. Сначала он давал мне корзинку поменьше. Потом, когда я понял его педагогический трюк, мы уже шли в лес с одинаковыми, но все равно у него за спиной был большой рюкзак вроде как для термоса, бутербродов и сладостей. Конечно, он собирал грибов гораздо больше, чем я, но, чтобы я этого не заметил, прятал их в рюкзак. Из леса мы всегда возвращались с одинаково наполненными корзинами. Помню, как я тогда гордился собой.

– Красивая история, трогательная, – прошептала Надя. – А что ты сделал, когда заметил эту уловку?

– Ничего, потому что никогда не замечал! Только спустя годы мама рассказала об этом во время дня рождения отца. Помню, что я был очень недоволен.

Надя обняла его и поцеловала. Вынесла на балкон одеяло, собрала одежду с пола и спустилась на кухню. Через некоторое время он услышал музыку и шорох ее суеты по хозяйству.

Он вернулся к работе. На чердаке стало душно. Опустил все жалюзи – стало так темно, что пришлось зажечь лампу. Несколько раз попытался включить вентилятор, но тот не шелохнулся.

– Чертова китайщина! – прошипел он сердито и потянулся к шлепанцу. Швырнул им в вентилятор, попал в лопасть, и пару секунд устройство покрутилось.

Весь следующий час он писал программу.

Обедали они на террасе. Не возвращались к утреннему спору. Надя даже не упомянула название той злосчастной книги, с которой все началось.

После обеда она вернулась к расчетам для Карины, а он тем временем помыл посуду, починил засов калитки, скосил траву и специальным секатором обрезал шаровидную тую, растущую на клумбе посреди сада.

Вечером они поехали на велосипедах к пруду. Жара не спадала. На травке лежали люди, бегали, высунув язык и едва переводя дух, собаки, верещали измученные жарой дети, на которых кричали родители. Они сразу же направились на «свое место»: боковыми дорожками объехали пруд, преодолели небольшую рощицу, а потом по деревянному мостику добрались до травянистой отмели, которая весной и осенью превращалась в болото. Туда редко кто захаживал. Они устроились под старой плакучей ивой, которая своими ветвями, такими плотными, что образовывали естественный экран, касалась поверхности пруда. Именно Надя однажды назвала эту заросшую травой пустошь «их местом».

В кино на последний сеанс они тайком пронесли вино. В большом зале было всего несколько человек. Они сели в последнем ряду. Когда свет погас, он обнял ее и стал целовать ее руки. Во время первой же рекламы они открыли бутылку. Надя наклонилась и начала целовать его. Когда она расстегивала ему рубашку, на пол упал телефон. Якуб соскользнул с кресла и нащупал его. Надя подняла длинное платье, бросила Якубу на голову и нежно сжала его коленями. Потом ослабила объятия, развела бедра и привлекла его к себе.

– Пойдем отсюда, – тихо простонала она.

Кратчайший путь домой вел вдоль пруда. У парковых аллей было множество ответвлений. Одно из них вело в заросли. То, что нужно. Они пробежали по треснувшему мостку и, держась за руки, добрались до ивы. Надя уперлась руками в ствол ивы и расставила ноги. Когда он поднял ее платье, она встала на цыпочки. Сначала он целовал ее обнаженную спину, затем опустился на колени. Он кусал ягодицы, бодал головой бедра. Наконец он встал, схватил ее крепко за волосы и прижал к стволу.

– Это вожделение, Куба. Животная похоть, – задышала она ему в ухо, когда оба опустились на траву. Все еще содрогаясь, задыхаясь, он был не в силах вымолвить ни слова, а она еще сильнее прижалась к нему. – Знаешь, чего ты меня лишил, что я потеряла? Нет, ты не можешь знать этого, ты не женщина. Я абсолютно лишилась с тобой чувства стыда. Хотя предстала перед тобой, как самка бонобо[15 - Карликовый шимпанзе.] во время течки. Мне так нравится, когда ты перестаешь быть ласковым и, ничего не спрашивая, просто берешь меня как свою собственность. Ты понимаешь, я ничуть этого не стыжусь. И как теперь быть? Думаешь, ты и дальше сможешь оставаться с такой разнузданной девчонкой? – спросила она с напускным ужасом и рассмеялась.

Он подхватил ее театральный тон, взял за волосы, притянул к себе и сказал:

– У нас проблема. Неразрешимая. У бонобо не бывает течки. Что будем делать, Надя? Как теперь жить? Ну?

– Да ладно! Так не бывает! Разве здесь могут быть исключения? Помню, нам еще в школе говорили, что у всех животных есть течка. Это что же получается? Бонобо постоянно хотят и постоянно могут спариваться? Круглый год?

Он нежно наклонил ее голову, прикусил мочку уха и сказал:

– Именно, именно: бонобо и хотят и могут спариваться круглый год. Точно так же, как и я, – прошептал он ей на ухо. – А еще мухи и комары – усмехнулся. – И слава богу. Потому что какая мне с тебя польза, если бы ты ходила со мной в кино только во время течки?

– Ах ты мерзкий сексист! Но в сложившихся обстоятельствах я прощаю тебя, – прошептала она.

Он не помнил, сколько часов они пролежали под ивой. Обычно после секса они лежали в обнимку, а он прижимал ее руку к своим губам, слушал ее нежный шепот и, так и не успевая ничего сказать в ответ, засыпал. На этот раз все было по-другому.

Она положила голову ему на плечо, а он прикрыл ее пиджаком. Говорили. Она рассказывала ему об ивах в гамбургском парке, куда каждую субботу отец брал ее на прогулку. Она не помнила, высокими или низкими были они, те ивы, раскидистыми или стройными, но она помнила, что у тамошних белок, которые прибегали к ним, когда они сидели на скамейке, глаза были как у плюшевой игрушки, которую она получила на день рождения от бабушки Сесилии. Иногда, когда она очень скучала, доставала из коробки игрушку, обнимала и вспоминала большие теплые руки отца и тех белок. Она попросила Якуба снова рассказать ей о звездах на небе. Показывала пальцем и спрашивала: «А эта почему такая светлая? А эта почему мигает? А вон та, почему она такая маленькая? А почему?…». Она любила его рассказы о Вселенной, о черных дырах, которые вовсе никакие не черные, о сверхновых, которые как исчезающие фотографии на Снэпчат, о галактиках, которые сталкиваются друг с другом или поглощают одна другую. Она хотела, чтобы он еще раз объяснил ей, откуда известно, что Вселенная расширяется, и почему это означает, что каждый вечер люди смотрят на звезды, которые становятся все дальше и дальше от них. Для Нади звездное небо было, как однажды она ему призналась, «хэппенингом, необычным художественным событием, которое все люди в мире могут смотреть каждую ночь, причем бесплатно». Она утверждала, что если бы верила в Бога, то поздравила бы Его с талантливой постановкой. Астрономия, космология или астрофизика ее мало интересовали. Она больше верила поэту: ведь если каждую ночь зажигаются звезды, значит, это кому-нибудь нужно.

Укрытие под ивой они покинули, когда уже рассветало. В парке появились первые велосипедисты, радостные пенсионеры с палками для скандинавской ходьбы и утренние бегуны. Якуб с удивлением констатировал, что в обществе избыток мазохистов, желающих делать себе больно и готовых вставать на рассвете. Надя вытащила из рюкзака книгу и легла на траву, положив голову ему на бедра. Она начала вслух читать о Грузии.

Это была ее идея, поехать туда. С палаткой, рюкзаком, котелком, без какого-либо конкретного плана, обойти стороной все, что в туристически модной в последнее время Грузии считается достойным обозрения. С одним лишь исключением – они хотели поехать в Гори, туда, где родился Сталин, чтобы понять, кем сегодня для свободолюбивых грузин – особенно для молодых, в общем их ровесников – является этот варвар. И кроме того, они собирались дегустировать местное вино, пировать с грузинами, послушать бесконечно длинные и поэтичные тосты, танцевать до рассвета и без зазрения совести толстеть от чурчхелы, о вкусе которой ходят легенды.

А подбили их на это путешествие один известный журналист и его жена, настолько влюбленные в Грузию, что устроили в этой стране свое официальное бракосочетание и сыграли там свадьбу. Они не столько завлекали описаниями красот, сколько пытались объяснить непохожесть, оригинальность, особый менталитет жителей, ну и, конечно, кое-что о потрясающей истории этой страны.

С тех пор, как они решили поехать, Надя просто заболела Грузией. Она покупала исключительно грузинское вино, искала в интернете рецепты грузинских блюд, изучала на Ютубе грузинский и изводила Якуба песнями Кэти Мелуа, которая там родилась и только во время войны в девяностые эмигрировала с родителями в Белфаст. А ее песни про девять миллионов велосипедов в Пекине и про любовь до гроба он и без этих напоминаний знал наизусть.

Наверное, Грузия на самом деле какая-то удивительная страна, отдающаяся эхом в мироздании, если даже книга о ней Наде служила как повод для того, чтобы рассказать свою историю.

Когда в 1940 году после нескольких месяцев ссылки под Красноярск от тифа умерли родители бабушки Сесилии, осиротевшую девочку приютила грузинская семья, тоже ссыльные. Сесилии было тогда тринадцать лет, Мариам, дочери ссыльных грузин, было чуть больше. Они стали лучшими подругами. Зимой спали

на лежанке за печкой, прижавшись друг к другу, летом уходили из школы, чтобы в самую жару искупаться в Енисее, а осенью вместе собирали картошку с делянки перед сараем, который был им вместо дома. В воспоминаниях бабушки Сесилии Сибирь совсем не напоминала замороженный ад, с которым она ассоциировалась у большинства поляков. Когда в 1947 году, уже став совершеннолетней, Сесилия получила репатриационное направление и решила вернуться в Польшу, она больше всего скучала по Мариам. Прошло более десяти лет, прежде чем им удалось снова установить контакт. Мариам тогда жила в Батуми, у Черного моря. Это из ее писем бабушка Сесилия знала, что происходило в Грузии, и рассказывала об этом Наде. Под конец жизни из-за глаукомы она начала терять зрение, и тогда внучка читала ей вслух письма от подруги. Поэтому Надя очень много знала о Грузии. Якуб никогда не спрашивал, как так получилось, что, будучи маленькой девочкой, она умела читать письма от грузинки, а о том, что она свободно говорит по-русски, узнал совершенно случайно. В один из субботних вечеров в конце марта. В филармонии.

Билет он нашел в конверте с письмом. Надя писала, что концерт будет событием неординарным, а в постскриптуме, как всегда, добавила: «Я хотела бы пойти туда с тобой. Очень». Концерты в филармонии были для нее чем-то особенным и очень торжественным. Она одевалась с особой элегантностью, покупала самые дорогие билеты, прекрасно знала, кто дирижирует, кто солист, почему именно этот, а не другой оркестр исполнит это произведение лучше.

В ту субботу русским оркестром из Москвы дирижировал молодой украинский гений, партию фортепиано исполняла чернокожая американка. Приближалась годовщина смерти Рахманинова, и концерт был посвящен его памяти. Когда во время антракта они пили вино в фойе и Надя вдохновенно рассказывала ему биографию композитора, к ним подошла молодая девушка с микрофоном. Через некоторое время появился оператор в рокерской косухе с красной звездой на груди, а за ним – молодой парень с небольшим переносным софитом. Девушка любезно спросила Якуба по-английски, не согласится ли он прокомментировать выступление российского оркестра для портала одной российской газеты. Когда он спросил, для какой, и узнал, что речь идет о «Комсомольской правде», не задумываясь, отказался. Отец рассказывал ему, что в свое время это был «самый лживый и скандальный рупор советской пропаганды». Когда девушка обратилась к Наде, произошло нечто неожиданное. Надя слезла с высокого барного табурета и начал дружелюбно общаться с журналисткой по-русски.

Надя говорила больше десяти минут. Он мало что из этого понял. К русскому языку симпатий он не питал и изучать его никогда не стремился. Главным образом потому, что не видел в этом смысла. Он мог уловить только отдельные слова: музыка, культура, Рахманинов, Чайковский, Украина, Польша во всех склонениях. Ему даже показалось, что он расслышал имя Шопена. Обычно застенчивая, держащаяся в стороне, интровертная и немного отрешенная, Надя активно жестикулировала, улыбалась, кивала в знак согласия или не соглашалась с журналисткой, молитвенно складывала руки, морщила лоб. Он впервые увидел ее такой. В свете софитов он заметил в ее глазах проблеск незнакомой ему дерзости.

Оператор смотрел на нее, как завороженный. В атласном платье, которое стягивало вздымающуюся грудь, с копной светлых волос, заплетенных в косу, Надя, его девушка, выглядела очаровательной. Она говорила низким, мелодичным голосом, а русский, исходящий из ее уст, полностью опровергал все стереотипы о языке, в которые когда-то поверил Якуб. В ее исполнении речь звучала нежно, чувственно и ласкала слух.

Потом в их жизни много раз бывало, что они до поздней ночи засиживались на кухне и пили вино, приходило чувство неописуемого уюта. Он смотрел на Надю, и его охватывала неуемная нежность и влюбленность… Непонятно почему, но в такие моменты ему хотелось послушать, как она читает стихи, и почему-то именно по-русски. Она молчала, улыбалась, тянулась к обернутой в газету книжке, которая лежала на табурете рядом с плитой, клала ее на стол, но не открывала, а читала по памяти, глядя ему в глаза. Случалось и так, что, когда он прижимался к ней в постели, пытаясь успокоить свою дрожь, она целовала его в виски и начинала что-то шептать по-русски. И тогда он засыпал.

В парке под ивой они пробыли до вечера. Планировали маршрут путешествия. На «Гугл-картах» подсчитали километры и выбрали места, которые хотели посетить, на «Букинге» и Airbnb присмотрели квартиры, искали кемпинги и палаточные городки. Больше всего подсказок находили благодаря поисковой системе Yandex.ru, на этой альтернативе «Гуглу». А поскольку «Яндекс» не связан с интернет-молохом, они часто находили информацию, которую «Гугл» вообще не приводил или, если она была, то оказывалась слишком краткой и не совсем точной. «Яндекс» был создан в якобы отгороженном высокими стенами от остального мира «русском пространстве», так что, если речь идет об истории постсоветской Грузии, эта поисковая система работает исключительно четко. Якуб не мог понять, каким чудом на вопросы о Польше она давала ответов

больше, чем польский «Гугл»! И, кроме того, гораздо более подробных ответов. Надя с типичным для себя сарказмом заявила, что «У русских всегда были очень хорошие службы, а, кроме того, русские интересуются тем, что происходит в мире». Якуб решил для себя, что, если он когда-нибудь что-нибудь будет искать в интернете, обязательно начнет с «Яндекса».

Он радовался предстоящей поездке. Целых три недели вместе! Все будут делить пополам. В дороге, под одной крышей или в одном спальном мешке. Радовался даже тому, что будут есть из одного котелка. Но больше всего ему нравилась перспектива совместных впечатлений, эмоций. Именно они самые важные, потому что объединяют людей. Так говорила его мать.

Он редко разговаривал с матерью о любви. А все из-за того, что когда-то, давным-давно, произошло то, чего он долго не мог простить ей. Вроде большой уже был и готовый к серьезным разговорам, но повел себя по-детски, в нем взыграло щенячье самолюбие. А когда понял это, поступил еще более нелепо и перед матерью не извинился… Его бросила девушка, мать любила ее и хотела узнать ее версию событий. В его отсутствие она пригласила девушку домой, а когда он случайно появился, то выбежал, хлопнув дверью, будучи убежден, что мать сговорилась с предательницей, которая испортила ему жизнь. Вот и вся история. Не спросил у матери, почему ее пригласила, не понял, что она имеет право, и увидел в этом не материнскую заботу, а заговор против него. Истерически крича, запретил ей лезть в его жизнь и отрезал ее от всей информации о своих чувствах, о своих девушках, страстях и проблемах. Так она до сих пор ничего не знала, например, о Наде. Да, он уходил в пятницу, да, возвращался в воскресенье, и поэтому она вполне основательно подозревала, что это из-за женщины, но, уважая его решение, никогда ни о чем не расспрашивала.

О любви с тех пор разговор имел место только один раз. Возвращались домой после концерта Кортеза и – что редко бывает – за рулем был именно он. Еще дома мать пила вино, а во время концерта – виски с колой из банки. На обратном пути она постоянно напевала, и тогда он спросил, почему она так любит Кортеза. Она ответила так:

– Потому что он поет о переживаниях. Так же, как и Коэн. Иногда даже лучше. Когда Коэн умер, я начала искать ему замену. Того, кто бы нес в своей душе его печаль. Потому что песни Коэна печальнее чем даже стихи Посвятовской[16 - Посвятовская Халина (1935-1967) – польская поэтесса.]. Очень органично

выглядели бы его диски с бесплатным приложением в виде бритвы. Кортез через переживания рассказывает о любви. Не с помощью каких-то смыслов, а с помощью переживаний, эмоций, потому что они – самое важное в жизни, они объединяют людей сильнее всего. Помни об этом. Сегодня я это уже знаю, – вздохнула она.

Он взглянул на нее. Мать сидела задумчиво, понурив голову, и смотрела на свои руки. Очень грустная. Каждый раз, когда она опускала голову и смотрела на руки, она действительно хотела скрыть печаль. Он давно знал об этом.

– Когда-то, очень давно, – сказала она вдруг, – когда я еще не знала, что скоро у меня будешь ты, я очень страдала от отсутствия эмоций. Я делала много глупостей ради того, чтобы они у меня были. Впрочем, не я одна. Однажды мы с тетей Аней и тетей Урсулой ехали за ними полдня и всю ночь на разбитом автобусе до Парижа. Я помню, что тогда хотела… – она замолчала. Они добрались до парковки перед домом. Мать поспешно утерла слезы и вышла. Никогда потом он не спрашивал ни о Париже, ни о том, чего она тогда хотела.

По дороге домой они с Надей остановились у траттории, которая недавно открылась в самой большой из «стекляшек» на краю жилого комплекса, недалеко от дома под номером восемь. Варшавско-хипстерская наливайка, пристроенная к супермаркету – похоже, так называли это место аборигены.

Одним из владельцев заведения был человек по имени Шимон. Надя часто заходила туда. По большей части из-за него, а не из-за подаваемых там деликатесов. Она садилась за столом рядом с вешалками, заказывала пиво и через некоторое время появлялся Шимон с арахисом или с фарфоровой миской, полной оливок. Очаровательный, чуткий, высокообразованный мужчина за сорок с профессиональной улыбкой начинал разговор с безопасных тем. Осыпал комплиментами ее красоту, жаловался на погоду, расхваливал пиво или оливки, после чего под любым предлогом переводил разговор на философию. И когда Надя заглатывала крючок, он говорил о философии в два раза быстрее, чем о пиве. Будто боялся, что не успеет сказать всего. Наверное, поэтому Надя называла его «Симонидом». Эдакий Парменид – он тоже свои речи произносил очень быстро – с концепциями изящной гастрономии в модернистской атмосфере итальянской траттории. Нужно было иметь немалое мужество, чтобы потратить деньги на такое заведение, которое соседствует с культовой, вечно переполненной «Жемчужинкой» и которое и дизайном, и ценами отличалось от

того, что в районе считалось нормой. При этом Шимон, кормивший своих гостей кровавыми стейками, был правоверным веганом. Не ел яичницу, не носил свитеров из шерсти, не дотрагивался до меда, не носил шелковых галстуков и, где только мог, протестовал против наличия животных в цирках.

В довершение всех этих чудачеств он мало того, что пропагандировал в своем заведении культуру, так еще и спонсировал ее. И науку тоже. Люди ели его пиццу и лазанью, запивая вином и слушая лекцию о генетически модифицированных помидорах, с которой выступала профессор Магдалена Фикус, самая известная в стране ученая-генетик. Или пили коктейли и думали о сексе, слушая лекцию самого Издебского, профессора-сексолога. В другой раз человек идет к Симониду на спагетти, а там воздушная Магдалена Целецка рассказывает о том, как делается хорошее кино и почему она все время с Хырой[17 - Анджей Хыра (р. 1964) – польский актер.]. Когда Надя спросила Шимона, что нужно сделать, чтобы привлечь таких людей к «что ни говори, но все же мало известной (по сравнению, скажем, с такой, как варшавское «Big Book Cafe»)» траттории, он ответил, что «нужно быть женщиной и очень хотеть». А очень хочет «одна настроенная на культуру рыжая полонистка из дома, что рядом с твоим садом».

– Если женщина по-настоящему хочет, она своего добьется. За «Big Book Cafe» тоже стоит женщина. Не рыжая, но зато королева. В смысле Аня Круль. Когда я в Варшаве, всегда туда заглядываю. Смотрю, учусь, записываю и завидую за чашечкой кофе.

Якуб с Надей сидели за столиком напротив бара. Несмотря на поздний час, в ресторане было много людей. Баллада, лившаяся из динамиков под потолком, смешивалась с шумом разговоров. Вскоре перед ними появился мужчина в забавных очках, обнял Надю и поцеловал в щеку. Надя улыбнулась:

– А это тот самый Шимон, о котором я тебе столько рассказывала. Самый выдающийся философ среди кулинаров. Или, может, наоборот – лучший кулинар среди философов.

Они крепко пожали друг другу руки. К столику подошла молодая официантка с папками меню. Прежде чем она положила их, Шимон сказал:

– Что бы господа ни заказали, принесите бутылку нашего нового сицилийского мерло, от заведения, а пани Наде – тарелку оливок, большую. – После чего, обращаясь к Якубу, добавил: – Так значит, вот кто этот счастливчик.

Надя заказала баклажаны, запеченные в помидорах. Он понятия не имел, что такое блюдо вообще существует. В ожидании они съели оливки и хрустящий пшеничный багет, который макали в оливковое масло с приправами. Бутылку вина опорожнили, когда в тарелке еще оставались оливки.

Надя не просто любила вино, она, как считал Якуб, знала о нем все. В Никарагуа она несколько месяцев подрабатывала на небольшом винограднике, причем не на сборе винограда. Когда его владелец, богатый пенсионер из Калифорнии, узнал, что Надя может измерить pH жидкости и разбирается в сульфате меди, который удаляет нежелательные сернистые соединения из вина, отправил ее на работу в сарае, где располагалась лаборатория. Главным там был один венгр, а она стала работать его помощницей и зарабатывать в двадцать раз больше, чем на сборе винограда. Здесь, среди мензурок, пипеток и котлов, она поняла, что есть места, где знание – самый ценный капитал. Там же от мудрого Ласло Домокоша, бывшего монаха из венгерского города Эгерсалок, она узнала о плохих винах столько же, сколько и о плохих поступках. А заодно научилась отличать хорошие от плохих – и вина и поступки.

Якуб тоже любил вино и вроде даже неплохо разбирался в нем, единственном алкогольном напитке, который он признавал. У него это, наверное, было от матери, потому что отец различал только красные от «прозрачных как слеза», сладкие от «кислятины», «варшавские за более чем сотню злотых для подарка от фирмы» от тех за 14,99, что из сетевого магазина «на подарки для семьи». Ему нравилось, когда Надя «приобщалась» к вину. Особенно вечерами, перед тем, как они ложились в постель. И когда она читала ему вслух русскую поэзию.

Надя вытрясла последние капли Мерло на багет и, пряча пустую бутылку в рюкзак, спросила:

– Ну что, сыграем в бутылочку? Давно не играли. На мне сегодня нет нижнего белья, так что, может быть, сможем закончить по-честному.

Он улыбнулся. На самом деле иногда они играли в бутылочку. И на самом деле до сих пор им не удавалось выдержать до конца. Никогда честная игра не

раздевала их до последней нитки. И это по его вине. В какой-то момент он забывал, что это игра, набрасывался на Надю и раздевал, не дожидаясь, когда ход дойдет до него. Иногда это происходило под столом на кухне, иногда на полу в гостиной с фотографиями, иногда на чердаке, иногда, когда она убегала от него, только под душем в ванной комнате.

Он взял оливку, положил ей в рот и сказал:

– Сегодня? До конца? Даже не рассчитывай на это.

На столе завибрировал телефон. Надя украдкой взглянула на дисплей. Некоторое время она колебалась, но все же вытерла рот салфеткой, извинилась и приняла звонок. Он понял, что на проводе была Карина. В какой-то момент на лице Нади появилось беспокойство. Она внимательно слушала, лишь изредка поднимая взгляд, чтобы посмотреть ему в глаза. Так прошло несколько минут. Наконец она заговорила:

– Когда? Когда самое позднее? Нет, я не могу принять это решение сама. Потому что так. У нас есть планы. Так же, как и у вас. Я знаю, что это важно. Кари, пожалуйста, verdammt noch mal, не повторяй мне это в сотый раз. Нет! Потому что нет! Не смей ему звонить, – крикнула она вдруг. – Это так обязательно? Думаешь, что Алекс расскажет мне что-то новое? Хорошо, тогда дай ему трубку.

Сначала она долго слушала, а потом начала говорить. По-немецки. Он не мог сказать, был ли разговор спокойным. Другая интонация, скрежещущая «r», непривычно длинные слова. Немецкий ассоциировался у него с напряжением, конфликтами и ссорами. Но чаще всего с приказами.

Наконец, Надя отложила телефон. Остановила проходящую мимо официантку и попросила бутылку холодной воды. Потом посмотрела на Якуба и сказала:

– Курить хочется. Иногда я жалею, что ты не куришь.

Отключила телефон и спрятала в рюкзак. Подошла официантка налила воды в бокалы и ушла. Она продолжила тихо:

– У Карины с Алексом серьезная проблема. Куратор проекта, этот всемогущий представитель министерства, не хочет подписывать договор, если в объекте не будет сметчика из Польши.

– Ну и что? – спросил он, не понимая.

Надя начала нервно заламывать руки. Он заметил на ее лице румянец, который медленно расползался, заливая шею и декольте.

– Ну и то, что этот господин считает, что польский сметчик – это я.

– Как ты? Какой ты сметчик, ты же студентка?

– А вот такой. Карина и Алекс внесли меня в ходатайство. Все расчеты, которые я делала, имеют три подписи: Алекса, Карины и мою. Причем моя подпись оказалась самой важной, они только давали одобрения расчетам, – пояснила она. – И теперь для этого бюрократа из Мюнхена за смету отвечаю я. А поскольку они только что узнали, что выиграли тендер… Видать, дело срочное, потому что сам куратор позвонил им. Причем в воскресенье! А в Германии звонить в воскресенье по делам – это как нарушение прав человека. Ведь я последние файлы отправила им только перед обедом, а они переслали их дальше, – добавила она тихо и замолчала.

В один момент у него в голове все сложилось в логическое целое. Он понял, о чем шла речь в разговоре с Кариной. У них были свои планы, и Надя не хотела их менять. Он посмотрел на нее.

– Не печалься о Грузии, она подождет нас, – сказал он, пытаясь успокоить ее.

Взял оливки, медленно отправил их в рот, достал косточки и положил на тарелку. Ровненько, одну рядом с другой, будто сейчас это было самое важное.

Надя молчала, нервно сжимая рюкзак.

– Когда ты должна быть там? – спросил он.

– Третьего августа.

– А когда вернешься?

– В начале ноября.

– Что с учебой?

– Карина уже написала декану. Он зачтет мне это как практику. Но экзамены я все равно обязана сдавать, как и все остальные.

Он понурил голову. Все думал, стоит ли спрашивать, если ответ ему известен. Ему когда-то задали один идиотский вопрос. «Хочешь поехать?». Ему было шестнадцать, и спрашивали его про Кливленд. Вопрос был жестоким. Он улыбнулся. Решил, что не станет спрашивать. Он взял ее руки и, целуя их, сказал тихо:

– Стало быть, Карина все продумала. Супер. Я буду к тебе приезжать. В сущности, Мюнхен – это не так далеко.

Надя кусала губы. По ее щекам текли слезы. Она не могла их утереть, потому что он держал ее за руки. Он чувствовал, как они дрожат. Старался, чтобы в его голосе не было слышно разочарования. Он знал, это очень важно, но придется делать вид, что ничего такого не случилось.

– А что сказал Алекс? Ведь это он занимается бухгалтерией.

– Что он должен был сказать? – Вздохнула тяжело и сжала его пальцы. – Ничего нового. Все то же самое, что и Карина, только по-немецки. Но что хуже всего: все понимают, что чиновник прав. Я обязана быть на месте. Так записано в контракте. И совсем не мелким шрифтом. Просто они не ожидали, что до этого дойдет, что кто-то будет настаивать на строгом исполнении всех пунктов. Алекс – сторонник строгого следования букве закона и соблюдения всех договоренностей, предпочитает спать спокойно. Он убеждал меня по-своему, – продолжала Надя, – совершенно иначе, чем Карина. Рационально, без эмоций, по-деловому. Назначил мне минимальную зарплату, размер которой может быть предметом для переговоров. А потом… Потом он просто попросил, по-человечески. Когда Алекс просит, у него меняется голос, ты знаешь? Это уже не тот же самый принципиальный и уверенный в себе бизнесмен. Хотела бы я

посмотреть тогда на него. Он попросил меня приехать в Мюнхен. Но по-другому, чем Карина. Она какая-то крайне иррациональная, романтичная. О деньгах говорит только тогда, когда может взять что-то у богатых и раздать это бедным. Мало заботится о себе. Я знаю это по Руанде. Она больше волновалась за тебя. Обо мне вообще не беспокоится. Ныла, что они от тебя бедного меня отрывают. А о том, что забирают тебя от меня, даже не подумала. – Взяла бутылку с водой, подняла руку, давая знак официантке, что просит счет. – Пошли домой, а? Я хочу быть с тобой. Поскорее и подольше.

Когда они шли с велосипедами к Надиному дому, Якуб спросил:

– Просто из любопытства, сколько, по словам Алекса, минимальная зарплата для польской студентки?

– В Мюнхене? По договору? Десять штук, – ответила Надя.

– Десять штук за три месяца?!

– Нет, за месяц.

– Десять тысяч? Евро? За месяц? – он остановился как вкопанный.

– Ну да, евро, за месяц. А что?

– И это Алекс называет минимумом?! – Он посмотрел на нее с недоверием.

– Да, Алекс – человек экономный. Я бы даже сказала прижимистый. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Австрии он не нашел бы такого дешевого бухгалтера. Впрочем, это никакая не бухгалтерия, а составление смет. Чтобы рассчитать суммы в евро и центах, нужно хорошо разбираться в проектировании CAD, 3D/2D, уметь выполнять поиск в базе данных с материалами, знать, где продают дрянь, а где качественный товар. А еще надо много считать. Суммировать издержки: от обычной шпаклевки, кистей и напильников до строительных лесов. Так понемножку и набирается. И Алекс это знает. Лучше, чем кто-либо другой.

Когда они добрались до дома, Надя оставила велосипед на крыльце, подошла к Якубу и прошептала:

– Может, не надо об этом сейчас, ладно? Ведь у нас есть дела более приятные, а вот времени мало. – Она начала искать ключ в сумке. – Verdammt noch mal! Куда он подевался? Слишком много вещей, – негодовала она.

Рюкзак вывалился у нее из рук и упал на пол. Раздался звук бьющегося стекла. Якуб наклонился, чтобы поднять рюкзак.

– Бутылка! – воскликнул он. – И что нам теперь делать? Как я теперь тебя должен раздевать? Verdammt!

– Я помогу тебе, – усмехнулась Надя, стягивая футболку. – Жаль терять время! – Она схватила его за руку и потянула в кусты смородины.

В дом они попали со стороны сада, через двери, ведущие на террасу. По винтовой лестнице он побежал за ней на чердак…

Домой он вернулся последним трамваем. Глянул на часы. Было уже около двух ночи.

Начинался вторник, 18 июля.

@3

– Что произошло, мама? Ты что, не спишь? И плачешь? – Услышала она голос Якуба и подняла голову. Он сел с ней рядом и не отставал: – Что случилось?

– Ничего, сынок. Ничего не случилось. Заснуть долго не могла. Ночь такая прекрасная, – солгала она, пытаясь выглядеть романтичной, подумала и добавила, – Настроение такое сказочное.

– Конечно, так я и поверил – ночь прекрасная и поэтому ты закурила? Ты ведь не куришь! Что произошло, мама? – не унимался он. Попытался забрать у нее сигареты.

Она остановила его руку, вытащила сигарету из пачки и закурила.

– Изредка, сынок, курю. А точнее…, – она выпустила дым изо рта… один день в году. Всего один день. Именно сегодня. А так ничего особенного не произошло.

– Раз в году? Сегодня? Почему именно…

Она не позволила ему закончить и попыталась обратить все в шутку:

– Что произошло? Сын застукал мать за курением. Обычно всегда бывает наоборот. Ты ведь никогда не курил? – спросила она, попыхивая сигаретой. – Даже немного волновалась, потому что сыновья всех моих подруг пытались. Я так боялась, что ты вырастешь маменькиным сынком. Но ты никогда не был таким. Ты ведь и теперь вроде как не куришь, да?

– Да, в смысле нет, – смутился он.

Она обняла его, крепко прижала к себе и нежно погладила по голове.

– Все в порядке, сынок. Я ждала тебя с ужином. Ты пообещал в пятницу, что мы поужинаем вместе. Так что я ждала. А в последнее время я вижу тебя только по утрам. Было время, когда ты проводил с нами воскресенье. Спал до полудня и уходил после ужина. Теперь только ночуешь дома. И то не всегда. Вот хотя бы вчера – не было тебя. А про воскресенье уж и не говорю. Даже не позвонил. И до тебя не дозвонишься, трубку не берешь. Может, скажешь, что происходит?

– У меня в последнее время важные дела, мама, – ответил он устало и положил голову ей на плечо.

– И как их зовут, эти твои важные дела? – пошутила она.

Она тут же пожалела о сказанном, прикусила губу и задержала дыхание, ожидая атаки с его стороны. Но никакого нападения не произошло. Якуб тихо

вздохнул и сказал:

– Надя…

Его реакция была столь неожиданной, что у нее перехватило дыхание, она сглотнула слюну, взяла его руку и нежно прижала к своим губам. Ей сразу стало легко и радостно. И тогда на нее накатили воспоминания.

А вспомнить было что.

ОН

На протяжении почти трех лет, сознательно и последовательно борясь с любопытством и глуша все внешние проявления материнской заботы, она старалась избегать разговоров на тему его «девочек, симпатий или подружек». Ей повезло, что сын не только любил ее, но и дружил с ней, что в жизни случается вовсе не так часто. Она тоже любила свою мать, но они никогда не были подругами. Любовь – это следствие большого увлечения. В течение какого-то времени, особенно в самом начале нашей жизни, родители очень важны. Тогда они для нас словно боги, все от них зависит. Первая из сонма богов – мать, потом идет отец, часто появляется бабушка, реже – дедушка. Основанная на бесконечном доверии, эта привязанность рождает любовь. Из-за отсутствия у ребенка знаний и возможности оценивать эта любовь безусловная, очень похожая на инстинктивную любовь собаки, которую регулярно кормили и поили; собачка не знает, кто ее выводит на прогулку – последний негодяй или первый из праведников. Обоих она будет любить одинаково. У собаки это на всю жизнь, а у человека с какого-то момента может быть и по-другому. Вот, например, своего отца она любила только в детстве. Когда немного подросла и поняла, что он плохой человек, ее любовь очень быстро превратилась в ненависть. Что также нормально. К человеку, которому безгранично доверяли и который потом оказался монстром, невозможно оставаться равнодушным. В этом случае любовь превращается в не менее горячую ненависть.

А вот дружба между детьми и родителями – это совсем другое дело. Источником дружбы вообще является изумление, что существует человек, который видит вещи так же, как и ты. Родители же обычно видят мир совершенно по-другому и, кроме того, обязательно хотят, чтобы их дети воспринимали его точно так же. А пользуясь своим доминирующим положением, часто этого от них и требуют.

Иногда с жестокой беспощадностью. Мало того, что они забывают о пропасти между поколениями, так еще и нередко навязывают свои взгляды и убеждения сыновьям или дочерям, пытаясь реализовать в них свои несбывшиеся мечты и неосуществившиеся планы.

В случае Якуба это даже не было изумлением. Скорее, констатацией его поразительной схожести с матерью, такой схожести, что они были обречены стать друзьями. Казалось, что в его геноме доминируют гены, полученные от матери. У него была такая же форма и цвет глаз, которые под влиянием эмоций из зеленых делались серыми, такой же контур губ и те же ямочки на щеках. У него тоже небольшая родинка под левой грудью, точно в том же месте, что и у нее. От нее он унаследовал тонкие руки, длинные пальцы, а также цвет волос. Вскоре оказалось, что, как и она, он левша. Несмотря на то, что они с Иоахимом разрабатывали у него с детства правую руку, Якуб остался левшой. Сегодня ей было стыдно, что она в свое время поддалась уговорам мужа, который «со знанием дела» утверждал, что «левшам в жизни не везет», что, якобы, они просто «неуклюжие, неполноценные». Космическая чушь, уходящая корнями в средневековье, когда леворукость не только рассматривалась как божья отметина, но и… «лечилась». Например, побоями, плаваньем в ледяной воде, жесткой фиксацией левой руки, а также – когда это не помогало – ломанием пальцев. Помнит, как ей было не по себе, когда однажды во время ссоры она напомнила Иоахиму, что тот женился на «неуклюжей и неполноценной» женщине, которой «в жизни не везет», а он ответил, что «бабам многое прощается», а она позволила уговорить себя на это идиотское «исправление» леворукости Якуба, потому что ее очаровал восторг, с которым муж относился к их первенцу. Иоахим был так влюблен в своего сына, что, если бы она позволила ему, он оставил бы все его подгузники себе на память.

Изначально она не могла понять этого. Когда она сказала ему, что ждет ребенка, он повел себя подло. Никогда не забудет, что он тогда сказал: «Ты, верно, шутишь? Мы же договорились! Ты не можешь так поступать со мной! Я не готов. Ты же обещала. У меня уже весь год распланирован. Ты не посмеешь!». Тогда один-единственный раз в жизни она была готова бросить его. Но когда она тихо паковала чемодан, произошло нечто необъяснимое. Он не умолял ее остаться, не просил прощения. Он подошел к ней и сказал всего одну фразу: «Поверь мне, я изменюсь».

И она осталась.

И оказалась свидетелем того, как после той вспышки с Иоахимом произошло что-то необъяснимое. С каждым днем он все больше становился таким, каким она помнила его по периоду ухаживания и каким он перестал быть после свадьбы, когда она от него отдалилась. Настолько отдалилась, что уехала в Париж.

Это была не просто перемена, это было – как она сейчас понимает – преображение. Нежеланный сначала, ребенок вдруг оказался долгожданным и желанным, а Иоахим снова был добрым и отзывчивым, любящим и заботливым.

И это не было спектаклем, который разыграл муж, испуганный уходом жены. Что бы ни говорили об Иоахиме, ложь, притворство и лицемерие были ему чужды. Он был не из числа людей сдержанных, что при его прямолинейности часто заставляло других считать его грубияном. Дело в том, что при разногласиях, конфликтах или в дискуссиях он не заботился о деликатности, был бесчувственным правдорубом и легко мог обидеть или даже ранить оппонента. Сколько же было ссор из-за этого. Тем не менее, она скорее предпочитала его, такого, какой он есть, нежели чем позера и трепача.

У чудесного преображения Иоахима была и другая причина. Ожидание рождения Якуба оказалось для них обоих временем страха и неуверенности. До конца не было понятно, родится ли этот ребенок вообще. Последние три месяца она провела в больнице на сохранении. У нее уже был один выкидыш, она приближалась к тридцати, и прогнозы были не лучшие. Они часто слышали от врачей призывы быть готовыми ко всему. Беспомощное ожидание на фоне сильного желания убрать страшный сценарий подальше больше повлияло на Иоахима, чем на нее. Поэтому, когда первенец, наконец, родился – хоть и был он малюсеньким, жалким, с желтоватым морщинистым тельцем – а врачи сказали, что младенец абсолютно здоров, Иоахим впал в состояние эйфории.

С тех пор он считал своего сына идеальным. Впрочем, настало время, и этот идеал слегка подпортила леворукость. К ее исправлению подключилась – к счастью, ненадолго – и она. Сегодня ее трясет от одного лишь воспоминания, какой идиоткой она была тогда. Она до сих пор не может простить себе потворства мужниным предрассудкам.

Со временем, когда Якуб превратился из мальчика в подростка, между ними стало проявляться сходство и в других областях жизни. Как и она, он был робким, отрешенным и задумчивым, упорно держался своей позиции, даже

вопреки мнению большинства, но очень редко выносил ее на публику. Он отличался крайне критическим настроем, все подвергал сомнению, а убедить его в чем-то было задачей не каждому под силу – долгой и кропотливой. Но если он в чем-то убеждался, то полностью с этим сживался. Друзей находил с трудом, хотя, если честно, то и не искал их. В школе, так же, как и она в свое время, прослыл нелюдимым – такой взвешивающий каждое слово молчун, остро чувствующий несправедливость. Некоторые учителя считали его учеником конфликтным, высокомерным и самонадеянным, что, между прочим, находилось в полном противоречии с тем, как его воспринимали сверстники: для них он был пусть и слегка странноватым, но все равно «своим чуваком», который «шифровался». Негативная же оценка со стороны учителей была связана в основном с тем, что он часто задавал им неудобные вопросы, порой выявляя их невежество и демонстрируя свое превосходство. Она прекрасно помнила себя в школе – была такой же. Ее тоже считали интровертом, хотя временами из нее вырывалась острая на язык всезнайка.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Проклятье; Черт побери (нем.)

2

Да здравствует поэтическая вольность! (лат.)

3

Вид общественного богослужения у католиков.

4

Тонкий листок выпеченного пресного теста, наподобие вафли, часто с тиснеными изображениями на ней. Облатки благословляют в Рождество, а затем делятся ими с родными. Обычай распространен среди ряда католических народов восточной Европы.

5

Строительная конструкция с несущими столбами в качестве опоры.

6

Американская телевизионная криминальная драма, 2008–2013.

7

Немецкий сериал в жанре неонуар, 2017–2020.

8

Эмблемы единства протестующей толпы. – Прим. перев.

9

Павел Домагала «Не спрашивай». – Прим. перев.

10

На улице Вейской в Варшаве находится Сейм – парламент Польши. – Прим. перев.

11

Мера относительного размера мозга.

12

Немечек – герой книги Ф. Мольнара «Парни с площади оружия». – Прим. перев.

13

Психологическое состояние, при котором человек теряет способность к определению и проявлению эмоций.

14

Шпунт и троянка – инструменты для обработки камня.

15

Карликовый шимпанзе.

16

Посвятовская Халина (1935-1967) – польская поэтесса.

17

Анджей Хыра (р. 1964) – польский актер.

Купить: https://tellnovel.com/ru/yanush-vishnevskiy/odinochestvo-v-seti-vozvraschenie-k-nachalu

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить